

„ Душа ? ! . .
О чем вы говорите, профессор ?
Разрежьте человека и что вы видите:
печень, сердце, легкие . . . Где же душа ? . . "

„ — А если раскрыть вашу голову, молодой человек, — найдешь ум ? . . "

(рассуждения . . .)

ПРИЗЫВ

С наступлением вечера, Нью-Иорк темнел быстро, по новому. Мрачно становилось его лицо, изменившееся за дни войны. Огни в окнах зажигались с опаской, не оживляя города, и весь он тонул в какой то тревоге и скрытых переживаниях.

Около десяти часов вечера, с лестницы старого дома, сходили два человека. По шуму голосов, по свету и табачному дыму, вырвавшимся на мгновение из входной двери, можно было догадаться, что они только что оставили многолюдное собрание. Оба были взволнованы.

Особенно заметно было волнение на лице более пожилого с подстриженными седыми усами. Движения его были торопливы и нервны. Он на ходу застегивал пальто. В словах его звучало негодование:

— Нет, какова наглость ! .. Дожили с вами капитан Кустарев. Кланяйтесь серпу и молоту ! .. Он почти выкрикнул эти слова своему спутнику, но заметив его сдержанность, добавил, точно оборвал себя:

— Простите, что я вас вызвал, Борис Вячеславович. Но не думаю, чтобы и вы могли там остаться дольше. На вас лица нет ! Понятно . . . Зайдем ко мне . . . поговорим. Это — необходимо.

Кустарев ничего не ответил. Быть может потому, что он сам не понимал, что с ним происходит и что означала, вдруг, навалившаяся на него тоска. Прорывались какие то волнующие мысли, напрашивались неожиданные вопросы, просились на слова, но на собрании он молчал, и сейчас наедине со своим другом, держал их в себе, напряженно и тяжко . . .

Сойдя с лестницы, он как будто хотел отказаться от приглашения, но внезапно произнес:

— Идемте к вам, полковник. —

Старший взял его под руку. Они давно знали друг друга. В первую мировую войну, Кустарев был под начальством полковника Гнедова. Потом судьба столкнула их в Нью-Иорке, на одной и той-же фабрике. На этот раз капитан занимал положение старшего, а полковник исполнял должность простого рабочего. Вне службы их отношения стали ровными, дружескими, чему способствовала трудная и бессодержательная для них, бывших военных, эмигрантская жизнь.

Но сейчас они оба были захвачены сильными и глубокими переживаниями; вторая мировая война, и то место, которое заняла в ней Россия, доходившие до Америки вести о героических подвигах русской армии, затрагивали и волновали даже скептические умы и души русских эмигрантов. В них назревали новые, смутные и радостные чувства. Неожиданно для самих себя, они испытывали гордость за героическую стойкость родины под ударом врага. А другие продолжали ненавидеть Советский Союз и видели в постигшем родину испытании, должное возмездие. Между соотечественниками все чаще возникали шумные разговоры, вспыхивали ссоры; в гостях, в общественных местах, в собственных семьях.

В этот вечер в Нью-Иорке произошло знаменательное событие: на очередном собрании бывших русских офицеров, генерал дореволюционной армии, обратился к собранию с призывом, в котором говорил, — „ сейчас долг каждого русского, помочь родине в ее тяжелой борьбе ”.

„Помочь России — дело нашей совести ! ” горячо взывал генерал. Его слова были приняты большинством с энтузиазмом, но вызывали также резкую оппозицию.

„ О какой России вы говорите ? Она уничтожена до основания ", взорвался чей то голос.

„ Россию уничтожить нельзя ! .. Советская власть не вечна ", раздалось в ответ.

Возбуждение охватило собрание. Некоторые члены покидали зал, демонстративно заявляя, „ что они не желают находиться среди большевиков ".

Одним из таких, был полковник Гнедов. Убежденный монархист, он воспринимал происходящее с болезненной остротой. Он покинул зал бледный, с трясущимися губами и как бы искал последнее, едкое слово, от которого ему быть может, стало бы легче. Он заметил высокую неподвижную фигуру своего друга Кустарева, и точно найдя в нем себе опору, потянул за собой. Кустарев последовал за полковником с некоторой нерешительностью.

Теперь они шли рука об руку по длинной, темной улице. Гнедов жил недалеко. Тишина окружила их, но не вносила спокойствия в их души. Гнедов продолжал горячиться.

В этот вечер, казалось весь город был пропитан той же волнующей атмосферой. Заголовки американских газет кричали об успехах России, о победах Красной Армии и, как о самом важном событии, извещали о приезде в Нью-Иорк советских героев, в честь которых устраивалась американцами и русскими, торжественная встреча в одной из городских аудиторий. Такое настроение, как бы дополняли рекламные вывески кино и театров, где шли сенсационные новые фильмы и пьесы из русско-советской жизни и войны.

Кустарев все еще хранил молчание, и только раздраженные слова его спутника нарушали тишину.

— Что-ж можно восторгаться Красной Армией, некоторыми реформами, можно признать их успех, но мы не можем считать это своим . . . Совершенно новая страна,

новые идеи. Попробуйте ка слиться с их коммунизмом! Получается, вообще, какое то шулерство, передергивание карт! Называть эсэсэровщину — Россией! А это, знаете, в наших рядах завелись какие то кастраты большевизма. Хотят проскочить туда, устроиться практически, а не идейно. Идеям-то откуда взяться, вдруг?..

Он взглянул на Кустарева, в его задумчивое лицо, и тот, как бы пробужденный произнес:

— В этом „вдруг", пожалуй и все дело, Федор Константинович. Я бы не судил их так строго... Все это — чисто русская особенность, поддаваться моменту. — Он помолчал и заговорил живее:

— А момент, действительно, получился сильный! Он попал в точку. Тут уж, скорее, взрыв национальной гордости притушенной в эмиграции, но не оставившей русской души никогда! А такой успех импонирует. Захватила энергия. Вот откуда и восторженное желание внести свою лепту родному воинству, не разбираясь во многом... Кустарев сделал паузу и опять продолжал с чувством:

— Все это становится особенно понятным в нашей, здешней жизни. Что в ней есть?

Он словно коснулся своих личных чувств, готов был заговорить о них, но опять сдержался, взглянул на полковника, хотел уже внести успокоение в его душу, промолвил тише, с улыбкой:

— Да, дорогой, Федор Константинович, легко, конечно, кричать под наплывом восторженных переживаний:

„Наша совесть!.. Идти навстречу советчикам!.. Мы должны забыть наши личные счеты с ними!"... А забудешь ли?.. Сможешь ли забыть?..

— Вы, пожалуй, правы... такие моменты... я знал их сам... отозвался более спокойно, задумчиво Гнедов и тепло прижал к себе локоть друга.

Они подошли к дому где жил полковник. Дом с неосвещенными окнами, встретил их угрюмо. Тусклый свет мерцал в парадном и в передней квартиры Гнедова, на втором этаже.

Дверь им открыла госпожа Гнедова, пожилая, вялого вида женщина. Она куталась в теплый халат.

— Что это, вы так рано?.. протянула она, посмотрев на Кустарева, как на старого знакомого.

— Убежали, голубушка, времена такие настали, что высидеть трудно. А теперь, угости нас чаем, — сказал Гнедов и направился в свою комнату. Кустарев снял пальто и последовал за ним. Ленивый голос полковницы несся им вслед:

— Да я уж сплю, Федор Константинович, ты сам похозяйничай на кухне. И не забудь чашки вымыть...

Ерзая по полу ночными туфлями она ушла к себе. Гнедов рассмеялся и, желая придать словам жены шуточный оттенок, сказал веселым тоном:

— Сами, так сами!.. Идем на кухню, Борис Вячеславович.

В довольно просторной кухне, Гнедов усадил гостя к столу и стал приготовлять чай. Движения его были порывисты и неумелы. К тому же, он опять возвращался к своему прежнему состоянию, пожалуй, ни на минуту, не оставлявшего его. Та же раздражительность, горечь послышались в его словах:

— Пусть это, как вы говорите, момент. Но моменты могут быть разрушительными. Ведь не пойдешь больше к ним на собрание с легким сердцем. Не наладишь прежних отношений. А генерала я, просто, видеть не желаю!.. И все потому, что не изменяешь своих убеждений, остаешься верным себе. Так и в семьях случалось, когда после политического раздора, терялась близость родственных чувств. Да, что говорить, ведь у вас самого

случилось нечто подобное?.. оборвал себя Гнедов, наливая чай Кустареву и глядя на него.

Что то дрогнуло в лице капитана. Он ответил не сразу, тихо:

— Да, мой брат Михаил. На семь лет меня моложе. Я покойного отца ему заменял с 13-ти летнего возраста...

— Вы, мне как то не досказали всего. Что же он, по молодости лет, увлекся революцией? что ли?.. — спросил Гнедов.

Кустарев не прикоснулся к своей чашке. Вопрос Гнедова заметно затронул его глубоко. Сильное волнение, теперь, отразилось в его лице. Голос слегка прерывался:

— В нашей семье... он один, не увлекался военной службой. Не думал о военной карьере, даже не умел носить свою юнкерскую шинель. Другое было на уме. А когда мы с ним встретились случайно перед эвакуацией, он был в офицерской форме без погон. Я спросил его: „едешь со мной?"... он ответил: „нет, брат, остаюсь на родине, с ними"...

Я подозревал это, но все же, такой открытый ответ, взорвал меня, помню, ударил его по лицу и сказал:

— Ты мне не брат!"

— Вот оно... еще криво по земле ходит, а уж враг государству... буркнул Гнедов. Кустарев продолжал:

— Встретились мы с ним еще раз, в Париже. Он туда приехал с Советской миссией. Пошел в гору. Он сам хотел повидаться и устроил нашу встречу. Первое, что сказал мне:

„Вернись со мной на родину. Не отрекайся от нее. Одна она у нас... и имя ее нареченное всегда будет — Россия"...

Кустарев остановился. Гнедов смотрел на него пристально, бросил сухо:

— Красочно, но не убедительно... Он встал и заходил по кухне.

— Что же вы ему ответили тогда ? — обернулся он к гостю.

— Я повторил, ты мне не брат... — произнес Кустарев беззвучно.

В нем произошла перемена. Какая то тяжесть отразилась в лице, в глазах, состарила его вдруг, как бывает от внезапной душевной боли. Будто все сказанное им о брате вызвало в нем и то неожиданное и тяжкое, что засело в его мозгу, давило душу. И уже поддаваясь этому, он сказал громко, как в припадке:

Мучительно вспоминать все это, теперь...

— Почему ? — остановился перед ним Гнедов. Кустарев поднял на него странно заблестевшие глава.

— А потому, полковник, что когда я ударил Мишу... тогда, оскорбительно-больно, он не дрогнул, смело смотрел на меня, вот так, как они там сейчас принимают смерть...

— Их страна, их и расплата, — проговорил как то небрежно, Гнедов.

— А что у нас с вами есть другого ? — негромко произнес Кустарев. Он обвел взглядом кухню. Всю ее неуклюжую громоздкость: наставленные старые вещи, груду неопрятной посуды... Все говорило не столько о бедности, сколько о чем то более тяжком: безысходной обреченности навалившейся на русского интеллигента в изгнании... Он заговорил с воодушевлением:

— Не потому ли, многие из нас, господин полковник, не способны приноровиться к этой стране, что все эти годы, мы никогда не примирились с мыслью, что наша жизнь здесь ? — не могли душевно оторваться от России, забыть о ней и перестать надеяться снова увидеть ее. Кто из нас отрешился от этого ?..

Кустарев просветленным взглядом смотрел на Гне-

дова, но и не замечал его, не щадил. Какая то новая сила владела им, заставляла говорить:

— Помните, как сказано у Достоевского? „Тот, кто теряет связь со своей землей, тот теряет и богов своих, т.е. все свои цели"... А куда же мы готовим себя? в полный мрак?.. В голосе капитана послышалась теплота: — Взгляните глубже, по человечески, Федор Константинович, вы сами поймете, почувствуете, что мы переживаем самое тяжкое для нас испытание. Ведь мы сейчас все там, воедино с ними, против того же врага. Иначе быть не может. Только крик многих из нас еще сдержан...

— Уходите, — не своим голосом, глухо оборвал его Гнедов. Кустарев встал. Он пришел в себя. Ему было уже жалко полковника. Он хотел сказать ему что нибудь примиряющее, но не находил слов. Между ними что то оборвалось... Гнедов стоял к нему спиной и мыл под краном чашки. Сильная, шумная струя воды лилась как то бессмысленно долго. Полковник, казалось, застыл, согнувшись под тяжестью каких то, вдруг налетевших на него мыслей и чувств.

Кустарев вышел на улицу. Взволнованный только что происшедшим, он несколько минут стоял неподвижно и смотрел в пространство растерянным, но и зачарованным взглядом; чувства так бурно прорвавшиеся в нем неслись более свободным, горячим потоком, вызывали желания, как можно скорее и ближе снестись с миром, его движением, с людьми... В измученном сердце, в ожившей памяти о брате, о родине, крепла тяга и надежда принять участие в судьбе России, быть там... Но тут же он понимал, как сквозь хмель, невозможность этого. Он был не молод — человеком прошлого.

Кустарев согнулся и быстро пошел по улице, хотел

уйти, убежать куда нибудь, но только бы не оставаться одному со своими мыслями.

В этот час, близкий к полуночи, улицы, далекие от центра города, были пустынны. Откуда то послышался вой собаки, протяжный, жалкий, похожий на жалобу, когда животное оставленно в одиночестве. Вой собаки отозвался в душе Кустарева, напомнил ему о его одиночестве, о всей жуткой пустоте его жизни, бесцельности. Он остановился посреди дороги с мучительной мыслью: „Куда идти?"

Вдруг он, как бы из под земли услышал голос, внятно говоривший по-русски:

— В этот решающий час, каждый из нас взял на себя ответственность перед родиной! — Это делает всю нашу армию одной семьей, сильной и победоносной!..

Взрыв рукоплесканий покрыл голос. Раздалась музыка. Кустарев оцепенел. Но как то мгновенно понял: это был громкоговоритель доносившийся из какого то окна. Передавалось чествование советских героев, сейчас происходящее в Нью Иорке.

Он весь встрепенулся; страстно, неудержимо захотелось самому быть на торжестве, увидеть лица, услышать слова из живых уст, соприкоснуться с новыми, неизвестными людьми, но говорившими его языком, живущих пылом его души — русского солдата.

Капитан рванулся вперед, к собвею. Через несколько минут, он уже находился в иной, шумной части города. Он с трудом пробрался через толпу, множество военных. Около здания, куда он стремился, скопилась почти непроходимая толпа любителей всяких сенсационных событий и зрелищ. Их сдерживал большой наряд полиции. Кустарев не без усилий, наконец, попал в залу аудитории. Его обдали духота и гул переполненного публикой огромного помещения. Многие стояли из за недостатка мест. Чья то речь, на английском языке, нес-

лась с эстрады, которая была нарядно декорирована, украшена американскими и советскими флагами. На подмостках находились американцы в военных формах и штатские. Впереди, за длинным столом сидело человек двадцать. В самом центре выделялись три советских офицера. Взгляд Кустарева замер на них. Это были, сравнительно молодые люди, крепкого сложения, с военной выправкой, сдержанными лицами. По временам они улыбались.

Насколько сдержанны казались советские гости, настолько в публике царила непринужденность и шумная восторженность. Слышались возгласы, аплодисменты.

Кустарев и сам почувствовал, как на его губах расплывалась улыбка, хотелось громко сказать „Хороши наши ребята", но сказать было некому; его окружала незнакомая публика и внимание всех уносилось к происходящему на эстраде. Другой человек в штатском, похожий на русского говорил по английски с акцентом. Он передавал от имени присутствующих здесь советских офицеров: тов. Захарова, Федина и Пархоменко, благодарность за подарки и снова призывал всех на помощь Советскому Союзу. В публике замелькали чеки, кредитные билеты передавались на стол. Раздавались снова аплодисменты. Неожиданно поднялся один из офицеров, товарищ Захаров, как представили его публике. На ломаном, но понятном английском языке, он объявил, что пожертвованные деньги пойдут на приобретение рентгеновских аппаратов. После него выступил другой, тов. Федин, с тремя нашивками за ранения. Он говорил по русски. Теплота прилила к сердцу Кустарева. Ему нравился этот советский офицер, белокурый, с красивым добрым лицом. И говорил он хорошо, как бы обращаясь к своим русским людям, хотя каждое его слово, немедленно, переводилось на английский.

Тов. Федин восхвалял доблесть и бесстрашие молодых советских бойцов. Рассказывал об одном последнем сражении, где отличились четыре героя, проявивших небывалую отвагу. Громче, с чувством раздался голос рассказчика: он называл их имена — „Тов. Рубцов, Дубас, Малкин и командир разведывательного дивизиона — Кустарев".

Что то содрогнулось внутри капитана, ему показалось, что он ослышался, но он опять услышал свою фамилию. И сердце его тяжко заныло при следующих словах советского офицера.

— Их нет уже в живых . . . они спят в родной земле, выполнив свой последний долг перед ней . . .

Кустарев, с ослабевшими ногами, как в тумане проталкивался сквозь толпу, вперед. На него оборачивались, шикали. Неожиданно грянул оркестр. Какое то новое движение, восторг охватил зал. Раздались крики — овации. На эстраде стояли советские моряки. Это помогло Кустареву незаметно подняться на эстраду, за спинами матросов пройти прямо к столу. Но его остановили, спросили: „Что он хочет ?" Кустарев ответил, „что ему нужно задать один вопрос товарищу Федину ". Его просьба была немедленно передана. Советский офицер поднялся и подошел к нему. Его лицо теперь выглядело непроницаемо — холодным. Голос прозвучал сухо:

— Вам угодно говорить со мной ?

Кустарев слегка растерялся, Федин показался ему другим, чужим. Он произнес робко:

— Простите, господин офицер, товарищ . . .

— В чем дело ?. . спросил Федин нетерпеливо.

— Простите, — повторил Кустарев и внезапно, нервно добавил:

— Вы только что упомянули фамилию командира

Кустарева... Можете ли вы назвать его имя и отчество?..

— Вам знакома эта фамилия? — удивился офицер и сразу произнес веско: — Он был моим другом и командиром — Михаил Вячеславович! Внимательный взгляд Федина подметил сильную бледность покрывшую лицо Кустарева. Но он ничего не сказал, а как бы насторожился. Заговорил опять Кустарев, голос его дрожал:

— Товарищ Федин, а командир Кустарев, никогда не говорил вам о своих родных, находящихся в эмиграции?

— Нет, разве у него есть родные здесь, в Америке?

— Да, здесь! — вырвалось у Кустарева. Он посмотрел на советчика смелее, продолжал:

— В ваших речах, товарищ Федин, вы говорили о своей силе в борьбе. Да, вы сейчас сильны. С вами считается весь мир... Так имейте же силу исполнить просьбу русского человека... Кустарев протягивал офицеру руку, — возьмите меня туда... где сражался и погиб командир Михаил Кустарев. Я — его брат, капитан Борис Кустарев... — его голос осекся, он весь, вдруг, ослаб. Пожатие руки Федина привело его в себя, он услышал тот же сухой, ровный голос: — Рад познакомиться с вами, капитан Кустарев. О вашей просьбе, нам придется еще поговорить, встретиться...

Какое то замешательство, недоговоренность послышались в этих словах. В этот миг их разъеденили. Офицера попросили к столу. Началось всеобщее движение. Собрание подходило к концу. Зазвучал советский гимн. Вся публика поднялась, многие устремились к эстраде.

Кустарев покинул зал раньше всех. Однако, очутившись на улице, он не отошел от здания. Слова Федина уже вспоминались, как обещание, оживили надежду. Он

хотел еще раз подойти к нему. Но тут публика повалила стеной. Встреча стала невозможной.

А когда толпа схлынула, Кустарев все еще стоял на месте и смотрел вперед, во тьму улиц, куда умчались советские гости...

ВОЕННАЯ ТАЙНА

В осенний день, после проливного дождя, городок в глубине Катскильских гор, выглядел унылым и пустынным. Посреди дороги на главной улице стоял большой красивый автомобиль, не то застрявший в грязи, не то сбившийся с пути. За рулем никого не было, а на задних сидениях находились две дамы и мальчик лет десяти. Из-за приоткрытого окна машины слышался раздраженный голос одной из дам. Говорила она по русски:

— Нечего сказать, заехали ! и нужно же было ему брать нас с собой ! Как убеждал, что эта поездка доставит нам огромное удовольствие, что мы увидим места, как на Кавказе ! Где он видит Кавказ, в пивной лавченке ? Он застрял в ней на целый час !

Другая дама помоложе, улыбнулась и сказала: — Не горячись, Оля, никто не виноват, что выпал такой день. — Она посмотрела в окно и добавила:

— А там, смотри, как будто в самом деле виднеются горы. — Ольга Степановна взглянула за подругой в сторону мутных небес, и опять произнесла со вспышкой:

— До этих гор нужно ехать еще дня два, а он сказал „ рукой подать ”. Меня, вообще, злит, когда Сергей хочет совместить свои деловые поездки с нашим удовольствием. Посмотри, на кого похож Алешенька, хотя-бы достать ему молока. — Она перевела свой беспокойный взгляд от сына на улицу.

— Почему папа не идет ? — спросил мальчик и только подлил масла в пылающее настроение своей мамы.

Да разве твоему папаше до нас дело ? Сидит в пивной и распивает молоко с пеной. А мы — жди, посреди

дороги обещанного рая. Меня озноб начинает пробирать от сырости. Нет, мне иногда кажется, Сергей не совсем нормален! — Закончила Ольга Степановна и сделала попытку встать. Но в эту минуту из пивной лавочки вышел ее муж, Сергей Николаевич Сергучев. За ним показались еще двое мужчин, один высокого роста остановился у дверей, другой коренастый пошел в ногу с Сергучевым. Незнакомец был без шляпы, в помятом брезентовом пальто. Ольга Степановна прищурила на него глаза, воскликнула:

— О, нашел русского, сразу видно по пальто! — Мужчины подошли к машине. Сергучев сказал жене:

— Оказывается, Олечка, мы заехали не в тот городок. Я вот встретил земляка, г-на Емелина. Он говорит, что здесь и передохнуть негде. Есть в лесу, невдалеке один русский дом, там мы можем остановиться на час — другой и поехать дальше.

Несмотря на неудачу, глаза Сергея Николаевича смотрели на жену с какой то хитрецой, но она не замечала этого и сразу обратилась к Емелину.

— А этот дом отапливается? Еда есть? —

Емелин медлил с ответом, он осматривал всех с интересом. Заговорил растягивая слова:

— Дом то отопляется... хозяйка Устинья Трофимовна вообще-то гостеприимная особа, раньше всех пускала к себе без разбору... а вот, теперь, не знаю, может и не впустит ..

— Как не впустит? — вскрикнула не то испуганно, не то оскорбленно Сергучева.

Емелин быстро оглянулся по сторонам и, приблизившись к окну машины, заговорил тише, таинственно:

— Да видите, сударыня, сейчас в ее доме создалось особенное положение. Два месяца там находился наш инженер — изобретатель, Борис Дмитриевич Яковлев, и мы его три помощника. Мы работали над его новым

авиационным аппаратом под огромной тайной. Вот там, в дверях стоит наш пилот Питковский, а старший механик остался в пивной. Я тоже по части механики. Сам то инженер вчера уехал на север и мы ждем от него телефонного знонка с важным распоряжением. Нам может быть всем придется ехать на север . . .

Ольга Степановна вспылила:

— Да какое мне дело, куда вам ехать ! Говорите, куда нам сейчас деваться. Со мной ребенок, мы отсырели на вашем Кавказе . . . — Емелин не обратил внимания на эту вспышку, заговорил опять с какой то осторожностью:

— Сударыня, если-бы Америка не находилась накануне войны, я бы сказал, поезжайте прямо к Устинье Трофимовне и пейте у нее чай. А теперь, вы понимаете, там военная тайна. Новый смертоносный самолет. Вы вообще, господа, знакомы с аэропланной техникой ? — спросил он вдруг.

— Я знаю, я знаю ! — воскликнул Алеша у которого глаза вытаращились на рассказчика.

— Видите-ли, г-н Емелин, — проговорил Сергей Николаевич, переставляя ноги, видимо промокшие насквозь.

— Нет, не видите ! — отрезал Емелин, и заговорил живее:

— А нужно, именно, знать принципы воздушных аппаратов. Конечно, когда Уточкин первый полетел на какой то перевернутой лампе, весь мир ахнул. И в дальнейшем — достижения в авиационной технике показали сверхестественные явления. Но все это ничто в сравнении с изобретением нашего уважаемого инженера, Бориса Дмитриевича. — Емелин с особым жаром оглядел всех и продолжал:

— Вот вы, господа, я вижу недовольны, что попали в наш городок, а ведь он, наверное, займет первое место в истории, потому что здесь недалеко в лесном домике

родилось новое самолетное чудо, и сейчас оно стоит там в своей миниатюрной форме и в великой тайне от всех...

— А молоко, молоко там есть ? — перебила его Сергучева.

Емелин посмотрел на нее с удивлением и улыбнувшись заметил:

— Теперь мне понятно, барынька, что вы совершенно незнакомы с такими вещами, если можете аэроплан сравнивать с коровой. Но вы ведь не раз видели над собой летающую машину, и вам не безъинтересно узнать, что одной из главных двигающих ее сил являются газы, которые выпускаются сзади через отверстие, похожее на конечность кишки. Сила этих сжатых газов против атмосферы дает толчек...

— Сережа, о чем это он ? — тихо спросила мужа Ольга Степановна, но ее вопрос был заглушен новым потоком слов Емелина.

— Теперь вы поймете, сударыня, что самолет держится в воздухе не только крылом, но так же и мотором. Вначале у Сикорского мотор был в носу.

— Неужели ? значит, он мог летать без аэроплана ? Вот чудеса ! — воскликнула подруга Ольги Степановны. Емелин пренебрег ее замечанием, он говорил Сергею Николаевичу:

— Наш аэроплан откроет новую главу в воздушной войне, и во всей истории авиации. Аэроплан, который, понимаете, будет работать по принципам ракеты, а именно: и Емелин стал пояснять Сергею Николаевичу с подробностями новейшее изобретение; послышались непонятные слова: „ Компрессор ", „ Карбуратор ", . . Дамы начали зевать, а Алеша разревелся, с этим и Сергей Николаевич как-бы потерял терпение. Он почти резко оборвал Емелина.

— Довольно и спасибо, г-н Емелин ! Все это очень

интересно, но нам пора ехать, хотя-бы к вашей Устинье Трофимовые, а то дождь накрапывает. —

И хотя никакого дождя не было, он рванул дверцу машины и занял свое место у руля. Емелин спохватился.

— Пожалуй, и я с вами поеду, — сказал он и, махнув рукой стоящему у пивной товарищу, сел рядом с Сергучевым. Теперь он объяснял дорогу, часто повторяя:

— Вот прямо . . . еще прямо . . . все прямо . . . а там я укажу поворот. —

Но поворота не было, начало темнеть.

— А вы дорогу знаете? — опять заволновалась Ольга Степановна. Емелин будто обиделся.

— Что вы, мадам, — и добавил:

— В этом то и вся ценность домика Устиньи Трофимовны, что его трудно найти, но вот уже видна просека, которая служила нам для первых экспериментов . . .

Дамы облегченно вздохнули. На самом деле, показался нужный поворот, а за ним сад и небольшой домик. С приближением машины в дверях появилась толстая женская фигура.

— Не беспокойтесь, свои русские, заезжие! — закричал ей Емелин. Женщина в теплом платке, с метлой в руках, все же тревожно всматривалась в машину. Емелин выскочил первым и любезно подавал руку дамам. Ольге Степановне он шепнул:

— Все устроится, я здесь свой! —

Сергучева ответила ему дружелюбным взглядом; лицо хозяйки ее испугало; та, словно, собиралась поднять на них метлу.

— Откуда? кто такие? — раздавался ее голос, грубый, осипший, — я никого теперь в дом не пускаю, все занято! . .

— Я им объяснял, пусть сами увидят . . . — сказал Емелин, и толкнул дверь, жестом, приглашая всех.

В первой комнате сразу бросался в глаза большой

стол. На нем были разбросаны бумаги, чертежи. Стояли пепельницы полные окурок. На конце стола возвышалась какая-то пирамида покрытая серым чехлом. Хозяйка со своей метлой быстро направилась к ней. Резко звучали ее слова:

— Сюда нельзя ! Видите, у меня инженеры работают, секретное сооружение для войны ! —

— Я уже говорил, — вставил Емелин.

— А я, что не могу говорить ? — огрызнулась она и стала снимать чехол с таинственной пирамиды. Аэроплан в миниатюре, как чудесная игрушка, открылся перед всеми.

— Я, можно сказать, сама не отходила от стола, все подмечала, сколько денег своих вложила на акции, богачка буду . . . — говорила она с гордостью.

— Папа, па, смотри ! — воскликнул Алеша, порываясь к аэроплану, но хозяйка отпугнула его.

— Куда, сорванец, не для тебя ! —

Мальчик готов был разреветься. Но в эту минуту раскрылась дверь. На пороге показался высокий человек, похожий на пилота, который остался у пивной. Он оглядел всех с тревогой и выкрикнул:

— Кто разрешил сюда ? Сейчас Борис Дмитриевич дал знать, что к нам послан главный инженер из Нью Иорка. Должен прибыть с минуты на минуту. Так что, прощу вас, господа, немедленно очистить комнату. Сюда воспрещен вход посторонним; с приездом инженера здесь будут происходить демонстрации для военного департамента . . .

— Не волнуйтесь, я и есть инженер, посланный компанией, — тихо произнес Сергучев и, протянув пилоту свою карточку, добавил:

— Можете и о демонстрации не беспокоиться. Я

познакомился с принципами вашего самолета довольно подробно по дороге . . .

— Почему же вы сразу не сказали, кто вы . . . — растерянно пробормотал Емелин.

— Нельзя было . . . военная тайна, — ответил инженер и устало опустился на стул.

ЗАПОВЕДИ

Каждый русский человек, который входил в квартиру — магазин Федора Пашкова, мог ощутить это чувство: его, точно, обдавало теплом и светом родины.

В двух маленьких комнатах, казалось, совершенно изолированных от американской городской жизни, царил мир и дух России, ее культуры. Во всем открužающем чувствовалась рука и мысль человека, свято преданного прошлому: многочисленные полки были тесно заставлены русскими книгами, выделялись редкие издания классиков. Каждый кусок стены был увешан олеографиями из русской истории, ее войн, портретами царей.

В одном углу стоял большой киот. В нем теснились образа, кресты, всевозможные иконки, теплились лампады. Аромат масла смешивался с запахами старых книг, кожаных переплетов. Навевал сладкие и далекие воспоминания. Восторженный взгляд невольно обращался к огромной книге в нарядном расшитом переплете; она лежала на столе хозяина — Библия.

Петр Семенович Хренов, человек из провинции, давно ставший американским гражданином (свою фамилию он американизировал на „ Хен ") очутился в этой обстановке и с радостным умилением почувствовал некоторое угрызение совести.

„ Вот как живет и работает русский православный человек на чужбине. Свое лицо сохранил ! "

С приливом глубокого уважения он взглянул на стоявшего рядом Пашкова, на его скуластое лицо, ласково подумал:

" Эх, милый, курносый, с тобой бы посидеть, поболтать по душам, много чего нашлось бы вспомнить " . . .

Что-то подкатило, приятно — щемящее, к сердцу Петра Семеновича, защипало в глазах. Нехватило даже духу сказать, сознаться, что зашел случайно, заметив с улицы объявление о распродаже русских книг.

„Захотел присмотреться к какой-нибудь книженке. Уж забыл, когда держал такую в руках" . . .

И вдруг всплыла перед Петром Семеновичем его собственная жизнь в эмиграции: жена — американка, дети, не говорящие по-русски . . . с горечью подумал:

„Погряз, погряз я ! . . Традиций родных не уберег . . . от своей церкви отошел . . . язык стал забывать, и, поди, американец из меня тоже не получился. Одним словом — дрянцо ! даже фамилию отцовскую изгадил: — Хен ! . . почему уж не просто — Хрен ?" . . .

Наконец, он произнес со вздохом:

— Как у вас здесь хорошо, господин Пашков ! Душа расцветает. Смотрите, у вас даже есть образки, какие помню у нас при церкви продавали, по пятаку, а то и по копейке . . .

На лице Пашкова показалась улыбка.

— Разница только в том, что я их продаю по доллару семьдесят пять за штуку, — сказал он, и стал рассказывать о своем магазине: редких ценных коллекциях. С особенной гордостью указал Хренову на что-то вблизи киота. Петр Семенович разглядел действительно чудесную вещь: из розоватой слоновой кости, тонко выделаные скрижали Ветхого Завета. Так и пахнуло на него святочтимым с детства Законом Божиим.

Не в состоянии отвести глаз от скрижалей, памятных на них заповедей: — „Аз есмь Господь Бог Твой"...

Петр Семенович, с приливом новой теплоты к хозяину, произнес:

— Честь и слава вам за то, что умеете находить и лелеять такие сокровище. Видимо, это воспитано в вас благочестивыми родителями. —

Улыбка опять показалась на губах Пашкова.

— Причем тут мои родители? Они были темные и безграмотные мужики. Если бы слушался папеньки да маменьки, сгнил бы в деревенском навозе. Сам в люди выбился!

Голос Пашкова прозвучал резко, поразив слух Хренова. А перед его глазами, как нарочно, на скрижалях выступила пятая заповедь:

— „Чти отца твоего и матерь твою".

Петр Семенович произнес тише, растерянно:

— Да, да... замечательно. А сами-то вы, вероятно, из бывших военных? В войне участвовали?..

В узких глазах Пашкова блеснул задорный огонек.

— В войне и в революции! Вот этой рукой не одного угробил... и он поднял правую руку.

Петр Семенович даже содрогнулся, а в глаза опять, как огнем, метнули слова со скрижалей: — „Не убий".

Хренов все же проронил мягко:

— Что-ж поделать, надо было защищать родину, царя... он хотел что-то добавить, но в этот миг послышался женский певучий голос:

— Фе-до ор Ива-нович!.. —

Из-за полуоткрывшейся двери выглянуло розовое лицо блондинки. Она бросила холодный взгляд на Хренова. Пашков быстро подошел к ней. Дама произнесла тихо (но слова довольно ясно достигли слуха Петра Семеновича).

— Что-ж я опять без тебя буду завтракать? И чего ты его задерживаешь, не ахти какой покупатель!..

— Я сейчас, подожди... ответил ей Пашков.

Розовое лицо скрылось. Хренов, как-то непроизвольно, спросил вернувшегося к нему хозяина: — Женаты? детки есть?..

— Избави мя! — сказал Пашков и с каким-то не-

хорошим смешком добавил: — Я живу с товарищем, он — женат...

Петр Семенович посмотрел на Пашкова и не мог вдруг отделаться от догадки. А глаза, точно сами притянулись к заповеди седьмой:

„Не прелюбы сотвори”.

Холодок и горечь коснулись его души. Ему захотелось уйти. Он наскоро спросил Пашкова о книжке, первой, какая пришла на ум.

Покидал он магазин торопливо. Зацепил прислоненный к стене большой портрет Николая Второго. Из-за него выглянул другой, с лысиной, — Ленина.

Если что нужно, то ко мне лучше всего приходить в воскресенье. Я ведь еще служу на стороне, — говорил ему на прощанье Пашков. Петру Семеновичу хотелось бросить в улыбающуюся, скуластую рожу.

„Помни день субботний!” — но тут же оборвал себя:

„Да что это со мной? Пусть его живет, как знает, хоть еще дюжину лампад у себя понавесит!..”

На улице Хренов посмотрел на свои часы. На его губах появилась усмешка. За двадцать минут, проведенных у Пашкова, тот успел нарушить четыре заповеди... Побудь он у него еще минут десять...

Потускневший взгляд Петра Семеновича упал на купленную книжку. Это была тоненькая и не совсем новая хрестоматия. Вся-то ей цена была пятнадцать центов, а Пашков взял доллар.

В усталой и раздраженной голове, как-то дико пронеслось:

„Не укради”.

* * *

ЛЕКЦИЯ

Профессор одонтологического института Лукьянов был приглашен обществом Русского Зарубежного Братства прочесть лекцию в Нью Иорке. Небольшой зал клубного помещения был переполнен. Вход был бесплатный, выход платный в 25 центов.

Отлученный своей должностью на несколько лет от русской колонии, ее жизни, профессор теперь стоял на подмостках и с интересом разглядывал русскую публику. Все это были бывшие люди: военные, чиновники, артисты, теперь составлявшие одну группу — скромных пожилых людей с каким-то общим колоритом, наложенным на них годами в эмиграции. В похудевших лицах была усталость, в телах тяжесть, дряблость. Дам в аудитории было мало.

В первом ряду сидел бывший известный генерал. Старик слегка кряхтел и направлял свое крупное, сероватое ухо к лектору.

После нескольких вступительных слов председателя общества, г-на Судакова, профессор начал говорить. Содержание его первой части лекции было: о современной зубоврачебной технике, гигиене рта, заражении полости рта, пиорреи, так-же о витаминах. Искусный лектор умело и интересно распространялся на эти темы. В его объяснениях все, казалось, приобретало для публики новое и важное значение. Когда профессор замолк, шумные, горячие аплодисменты наградили его. Шопот восхищения прошел по залу:

— Прекрасно говорит . . . с апломбом . . . —

Одна дама, лорнируя профессора, шепнула подруге:

— Он наверно был красив в молодости . . . —

Председатель, г-н Судаков, попросил тишины и объявил публике:

— Желающие могут обратиться к профессору Лукьянову с вопросами. Сразу же поднялась фигура генерала. Чувствовалось, что старик проникся глубоким уважением к лектору — соотечественнику и воспылал к нему доверием и симпатией. На его лице была улыбка, но голос звучал глухо, неразборчиво, с кашлем:

— Г-н профессор... я вот... кхе... кхе... хотел бы вас спросить, какое лечение вы посоветовали бы от прострела? —

— В каком зубе? — спросил Лукьянов, видимо не совсем разобрав вопроса, и теперь направляя свое ухо к генералу.

— Да нет у меня своих зубов, г-н профессор. Вот здесь адская боль! — И генерал стал показывать на свою поясницу, проводя рукой вниз по правой ноге.

Тень смущения проскользнула по лицу Лукьянова. Он ответил с некоторой медлительностью:

— Вы хотите сказать — лумбаго, боль в глубоких мышцах? —

— Может и лумбаго, а у нас по военному — прострел, — сказал опять глухо и с улыбкой генерал.

Что-то вроде сдержанного смеха прошло по залу. Открыто улыбнулся профессор, но, сохраняя серьезность в голосе, произнес:

— В таких случаях рекомендуется тепло, диатермия при помощи электричества, банки, дают отличные результаты грязевые ванны. —

— Благодарю, — как-то суше, по военному отчеканил старик и со вздохом опустился на свой стул. За ним сразу же встал другой, худощавый господин в очках. Он начал с запинкой в голосе и тоже неразборчиво:

— Простите, г-н профессор, это, конечно, не пиоррея... —

— Пиоррея? — оживившись, поднял на него глаза Лукьянов и быстро добавил:

— Пожалуйста, подойдите ближе, покажите... —

Господин смутился, замешкался:

— Я... профессор, собственно говоря, хочу спросить вас, как теперь насчет излечивания геморроя? —

Лукьянов на этот раз не выразил ничего на своем лице, но почему-то сгорбился над своей тетрадью. В голосе его послышалась сдержанность:

— Хорошие результаты дают прижигания, иньекции, в некоторых случаях необходима операция.

И, нагибаясь над тетрадью, Лукьянов точно соображал, что ему нужно сейчас же сделать передышку, но вставала новая личность.

— Профессор... у меня вот... знаете... — начал было он. Но вдруг заметил присутствие дам, как то запнулся и сел на свое место.

Председатель Судаков решил воспользоваться этим моментом и объявить перерыв. Но поднимались новые просители, сыпались вопросы. Перебивали друг друга астматики. Один говорил, что не может спать на подушке из перьев, другой — на матраце из волос.

— А вы спите на стуле! Знаете, приятное ощущение, будто едешь куда — то... — опередил профессора какой то добродушный тип. А к лектору летела чья то новая, слезная жалоба о воспалении сидалищного нерва.

— Ишиас лечится теплом... доносился упавший голос Лукьянова. Усталый до белезны лица, он наконец отошел от стола. Было поздно продолжать вторую часть лекции о зубной хирургии. Он заметно старался поскорей уйти. Вид имел раздраженный и недовольный. Недовольство чувствовалось и у расходящейся публики.

Около входа начинался скандал. Кто то отказывался вносить „выходную плату".

— Помилуйте, да разве это порядки? У меня нарыв под зубом, а мне слова не дали сказать профессору, с геморроем лезут! — слышался голос, нервный и злой.

Последним покидал зал генерал. Он тихо ворчал про себя:

— Грязевые ванны... это значит ехать в Евпаторию или Ессентуки... Хе... хе... теперь только и можно надеяться на квартирную грязь... — Сутулый, одинокий, он уходил со своим „прострелом" в глубину Нью Иоркских улиц, затемненных поздним часом, сумрачных и печальных.

ТЯГА

Приезд в новый город всегда сопровождается смешанным чувством, все кажется привлекательным, обещающим. Люди интересными и дружелюбными. Но все же возникают некоторые сомнения и охватывает одиночество.

Все это почувствовал Никанор Иванович Теменев, как только он вышел из вокзала совершенно чуждого ему города, но куда он давно стремился. В первую минуту ему было радостно от сознания, что он переменил наскучившую ему жизнь в Нью-Иорке на что-то новое, интригующее. „Ведь Америка только и хороша для переездов и наблюдений" ...

Однако, Теменеву стало определенно тоскливо от неизвестности окружающего. Вот тут его надоумило:

Город, куда Никанор Иванович приехал славился своей обширной русской колонией. И он решил, прежде всего, найти себе комнату в какой-нибудь русской семье. (Что на много сократит его расходы, а главное облегчит, хотя бы на первое время, сиротство его души).

Больше двух часов он искал комнату, в районе, где ему сказали — живет много русских. На этих улицах, немного отдаленных от центра, дома были похожи на дачи-особняки, с садами, зелеными лужайками.

Осенний день выдался теплый, солнечный и все выглядело приветливо, но комнат не сдавалось. Как бы свидетельствовало о благосостоянии местных русских. Это радовало и огорчало Никанора Ивановича. Его ноги начинали уставать. Он готов был покинуть цветущие уголки, как вдруг заметил в окне исключительно

красивого дома, вывеску о сдаче комнаты для одинокого.

Не теряя минуты, Теменев позвонил в дверь. Ему открыл солидный, полноватый господин с благодушной физиономией. Никанор Иванович сказал по-русски:

— У вас сдается комната? Я приезжий. —

Господин тепло улыбнулся и представился: — Аким Митрофанович Лупин, хозяин дома.

— Он добавил: — комната маленькая и она у нас пустует. Милости просим! — Он повел Теменева на второй этаж. Крохотная комнатка вполне подошла Теменеву и стоила всего десять долларов в неделю. Хозяин деликатно спросил:

— Не будет дороговато? — Теменев ответил, что не ожидал такой скромной цены и тут же вручил хозяину десятку. Он был счастлив, что так сравнительно быстро нашел то, что хотел. К тому же хозяин все более располагал его к себе. У Никанора Ивановича закрался было испуг: „не окажется ли хозяйка полным контрастом своего милого супруга?" (что случается не редко...), но как только они сошли вниз, Лупин представил его своей жене, такой же симпатичной улыбающейся особе, Полине Ильинишне.

После обычных распросов „Надолго ли к нам?" „Какой специальности?" — хозяин предложил Теменеву отвезти его на станцию за вещами.

На обратном пути они разговорились, как друзья после долгой разлуки. Аким Митрофанович рассказывал о том, что больше всего интересовало приезжего; о местной русской публике. Это оказывается была особенная группа русских-американцев поселившихся здесь еще до первой великой войны и сумевших использовать выгоды богатого индустриального центра.

— Конечно, все живут здесь своей жизнью, — говорил Лупин, — но создавшаяся близость (из-за вечной

тяги к своим) с годами вызвала чувство соревнования; каждому хочется похвалиться перед своим соседом. У одного в саду появился фонтан, у другого устраивается бассейн для купания. Один купил превосходный рефрижератор для кухни, другой, глянь, ящик для замораживания еды на год. Правда, когда однажды из-за бури прервалась подача электрического тока, у обоих одинаково все сгнило, но все же преимущество есть. Лупин с удовольствием оглядывал владения своих соседей, привлекая внимание Теменева. Когда подъехал к своему дому он воскликнул с гордостью:

— Вот и я переплюнул здесь многих ! Мой дом считается одним из лучших по архитектуре. А вы обратили внимание на мою мебель в гостинной ? — Никанор Иванович ответил, что все ему показалось замечательным. Он слегка был смущен; в рассказах Акима Митрофановича явилось для него много интересного, но и непривычного ... Милый человек уже сиял поведав ему как бы по секрету, что он собирается на днях приобрести новый ковер. — Мы обязательно поедем вместе за этой покупкой ... — сказал он.

В быстрых сближениях между людьми есть своя прелесть. Теменев с каждым днем чувствовал себя обновленным человеком. Редкая энергичная натура Лупина бодрила его самого. Он начал думать о хорошей для себя службе, положении ... Аким Митрофанович сам нигде не служил, но всегда был занят какими-то крупными предприятиями, покупками, о которых он говорил с молодым энтузиазмом. В один из этих дней, Теменев оказался один в доме и к нему впервые пришла мысль: „Почему Лупины не держат прислуги ? Ведь они — люди с деньгами ". Как бы в ответ, у входной двери раздался звонок. Никанор Иванович открыл. На пороге стояло двое рабочих, позади них на дороге возвышался фургон для перевозки мебели. Один из прибывших вру-

чил Теменеву бумагу и прямо пошел в дом. За ним последовал другой. Теменев растерялся. Бумага в его руке ясно говорила о пропущенных платежах за мебель. Он забормотал:

— Постойте ... в чем дело ? .. Я не хозяин дома ... — Рабочие, не слушая его, стали распоряжаться в гостинной. Никанор Иванович не знал, что ему делать. К счастью, вернулся Лупин. Он так же растерялся, а потом заговорил:

— Это недоразумение... мой чек значит не дошел ... Сейчас банк закрыт и чековая книжка вся вышла ... А остаться без мебели ? кроватей ? Он взглянул на квартиранта и добавил:

— Голубчик, Никанор Иванович, если вы мне одолжите 50 долларов, я с ними еще поговорю ... —

Теменев достал деньги и дал Лупину. Хозяин подошел к рабочим, которые выносили его роскошное кресло ... 50 долларов, однако, помогли, люди взяли деньги, официальную бумагу и оставили мебель. Лупин горячо благодарил Теменева, который был рад поскорее уйти в свою комнату и отдохнуть на кровати, оставшейся на месте.

Через три дня его снова встревожила похожая сцена. На этот раз приехала машина, чтобы забрать „ за неплатеж" аппарат телевидения и рефрижератор. Хозяин взволновано разводил руками, жаловался Никанору Ивановичу:

— Понимаете, просил дать отсрочку ... Сейчас, как на зло, подошли другие платежи ... А лишиться ледника, телевидения из-за каких-то 25 долларов ? — прямо обидно ... А главное, завтра утром у меня на руках будет крупная сумма ... Теменев предложил свою услугу. Лупин горячо благодарил его. Необходимые вещи были не тронуты.

На следующий день о деньгах разговора не было,

но Лупин вспомнил свое обещание взять с собой Никанора Ивановича за покупкой ковра. Продажа ковров происходила у проезжей дороги, в наскоро выстроенном павильоне, на подобие выставки. Ковры были замечательные. Публики набралось много, а покупателей было мало из-за высоких цен. Лупин занял видное место в кресле, обращая на себя внимание. Перед ним продавцы растилали ковры, каждый освещая специальными лампами, дающих иллюзию солнечного, электрического и лунного освещения. Теменева смущало все: Лупин, публика, лампы и цены. Но он терпеливо ждал чего то... Свои деньги он не взял с собой, чем был доволен. В это утро он заметил, что его скромный капитал тает гораздо быстрей, чем он предполагал. Подумал он и о том, что надо поскорей найти себе службу.

Лупин наконец пригляделся к одному ковру, цена которого была 500 долларов. Он давал 400. Ковер выглядел изумительно красивым, нежно голубого цвета с ярким кубическим рисунком. После долгих разговоров и удивительной настойчивости Лупина, ковер был приобретен им за 425 долларов. Из своего бумажника он вынул 10-ти долларовую кредитку, которая показалась Теменеву странно знакомой, похожей на ту, которую он дал хозяину в день приезда. Этой десяткой Лупин сделал первый взнос за голубой ковер, объясняя продавцу, что он не ожидал делать такой покупки, проезжал мимо... но о таком ковре для своего дома давно мечтал... Каждое слово Лупина принималось с должным уважением, ему дали подписать „контракт платежа" и обещали прислать ковер в тот же вечер.

В автомобиле Лупин сказал Теменеву, что завтра день рождения его жены, приглашено много гостей соседей и так кстати будет лежать в гостинной новый ковер!..

— А там, пусть забирают его хоть на следующий день!.. — добавил он и расхохотался.

Никанор Иванович покраснел. Он невольно вспомнил рассказы о местных идеалах „пустить пыль в глаза"...

Как-то сразу охладев ко всему, он решил немедленно оставить дом Лупиных, но как только они вернулись, Лупин рассказал жене об удачной покупке и они оба решили „вспрыснуть" новинку — поехать обедать в ресторан. Они пригласили Никанора Ивановича, обещая показать ему одно из лучших мест, где чудно кормят и поет известный цыган — Миша Кукаш. Никанор Иванович согласился, приняв во внимание, что такой обед будет кстати на прощанье. Хозяева задержались с отъездом: к ним приехала пара супругов американцев, которых они уговорили ехать с ними. Они также сговорились встретиться там, где поет Миша Кукаш.

Обед в русском ресторане начался оживленно. На столе появились закуски, водка. С пожарскими котлетами явился певец; маленького роста, курчавый цыган с гитарой. Он запел под самым ухом Никанора Ивановича заунывный романс: „Не развеять мне грусти тяжелой"... Слова цыганского романса странно сливались с настроением Теменева. Когда певец закончил песню и положил свою руку на стол, а все сидели закрыв глаза от восторга, Никанор Иванович дал цыгану три доллара.

Аким Митрофанович открыл глаза и протянул в некотором забытье: — Благодарю вас... это расход мой... — и он опять закрыл глаза в ожидании новых песен. Но певец двинулся к другому столу. Обед кончился. Лупину поднесли счет. Он взглянул на него и передал жене со словами:

— Ты расплатись, дорогая, ...я совсем опьянел,

ничего не соображаю... Полина Ильинишна отдала ему счет, заметив смущенно:

— Я не брала с собой денег, неужели и ты забыл?.. У Лупина вид был жалкий. Он ощупывал свои карманы приговаривая:

— Вот оскандалился, господа, ...простите... Его мучительно сконфуженный взгляд обратился к Теменеву, перед которым очутился счет. Никанор Иванович прочитал цыфру: за шесть обедов и напитки 36 долларов, плюс — такса. Он вручил лакею деньги, плюс — на чай. Лупин встал шатаясь и потянулся целовать квартиранта.

По возвращению домой, без посторонних, хозяин, быстро отрезвевший, сказал Теменеву:

— Я попрошу вас, дорогой, немедленно составить мне всю сумму, до копейки, которую я вам должен.

— Я сейчас от вас уезжаю, — прорвалось у Теменева холодно и, замечая испуганные взгляды хозяев, добавил:

— Меня экстренно вызывают на место моей новой службы... — Неизвестно, поверил ли ему Лупин, но Никанор Иванович знал наверняка, что ему не увидеть своих денег. Только из-за настойчивости Лупина он напомнил ему при прощании:

— 50 за мебель, 25 за телевидение и рефрижератор, 36 за обед и... за романс — „Не развеять мне грусти тяжелой"... — 3 доллара.

* * *

ОБЕДНЯ

Скромная, деревянная церковка, заунывным звоном призывала к заупокойной обедне. Утро было ранне-весеннее, обычная тишина поглощала американский поселок, но подле русского храма было редкое оживление.

Старушка Федосеева, местная жительница и верная плакальщица по всем покойникам, была уже тут как тут, на ее стареньком, сморщенном лице застыло удивление и лукавое любопытство. Никто толком не знал, кого хоронят? Знали только, что это был почтенный русский человек, умерший в местной санатории для выздоравливающих.

Похороны были заказаны из города торжественные. Ждали много народу.

Еще в полутемной церкви стоял тяжелый серебрянный гроб, то и дело вносились цветы, венки.

Федосеева успела разглядеть тощее тело усопшего, его седенькую бородку, поняла, что это ученый, замученный наукой, прониклась к нему уважением и, упав на колени, прошептала слезно:

„Блажени непорочнии, в путь ходящии в законе Господни...” и бросилась вон из церкви.

Она соображала:

„Не сбегать ли ей домой, оповестить всех соседей о предстоящих похоронах?” Но остановилась, увидев священника. Высокий, худощавый, в старенькой рясе, отец Михаил приближался к церкви с дьяконом Порфирием. Последний был местным куроводом, но до самозабвения любил церковные службы. Брали его по необходимости на место дьякона, поверив на слово, что он

был рукоположен; но Порфирий еще ни разу не прочел ектеньи безошибочно.

Сейчас, отец Михаил, особенно строго, о чем-то его предупреждал, но как только священник отошел, Федосеева подскочила к Порфирию и выпалила гневно:

— Смотри, не напутай в чтении, не своего собутыльника хоронишь! Ученый, профессор... гроб серебрянный, не меньше тыщи стоит...

Порфирий посмотрел на старушку едким взглядом и протянул:

— Какой такой профессор?

Старушка вспылила:

— Кто его знает! Арифметики... грамматики... всякие бывают... да ты главное, имя раба усопшего говори правильно.

— Арифметики... грамматики... не напугала, и с такими дружбу вел, — отрезал Порфирий и, подтянув узкий подрясник, вошел в церковь.

А Федосеева уже с умилением смотрела на идущего к церкви регента. Статный старик, он всегда вносил какую-то важность своей фигурой, как бы сохранившей осанку прежнего звания жандармского полковника.

Хор его, обычно, состоял из пяти голосов русских мужчин и женщин, в особых случаях дополнялся голосами трех американок из местной протестанской церкви. В это утро американки появились в ярких весенних шляпках. Федосеева американок не долюбливала, а за новые шляпки довольно громко пустила им в догонку:

— Ишь, расфуфырились! Покойник встанет!

Ее шустрые глазенки разбегались по сторонам; не узнать было окружающего пустыря. На дороге скоплялись автомобили, подходили большие группы людей, большинство мужчин. Некоторые из них были в тяжелых шапках, похожих на мужичьи, такими были и их лица, широкие, хмурые. И странно, эти новоприбывшие с не-

которой нерешительностью входили в церковь, снимали свои шапки, неловко сторонились, не крестясь подходили к гробу и смотрели на покойника с каким-то недовольством...

К началу службы церковь была переполнена и, опять происходило нечто небывалое; только немногие из приезжих принимали свечи, другие стояли заложив руки назад. Федосееву трясло от всего этого, как в лихорадке, ее дрожащий голос вырывался во время чтения молитв:

— Лба не перекрестят!.. свечей не берут... да кто же это? Нехристи какие,.. —

Вдруг, чей-то взгляд пронзил старушку, голос пробасил:

— Искатели общественного идеала ни в Боге, ни в церкви не нуждаются, тетка. —

Федосеева обомлела и взвизгнула:

— Окаянный сквозь землю! Господь по земле!

Она ринулась от него, как от нечистой силы, а по церкви уже пронеслось придушенно-скрытно:

— Хоронят Торгановского, социалиста...

Федосеева всеми силами пробивалась вперед, натолкнулась на живот Порфирия, услышала его ядовитый шепот:

— Профессор арифметики, грамматики... да за эту грамматику ему на том свете не поздоровится!..

— Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание... разносился кроткий голос отца Михаила.

Федосеева ни жива, ни мертва, неслась на хоры. Оттуда стройно неслось пение:

Святый Боже, Святый Крепкий... — а когда затихли голоса певчих, по хорам разнесся исступленный старушечий шепот:

— Коммунисты... большевики... безбожники в храме! Своего хоронят, богохульствуют!..

Регент и певчие с испугом уставились на Федосееву. За ее спиной показался церковный староста. Он схватил ее за плечи:

— Молчи Федосеева, коли не знаешь, какие там коммунисты, это социалиста Органовского хоронят! —

— Одна сатана! — рванулась от него старушка, бросаясь точно под защиту к регенту.

— Павел Семенович, да как же это неправедного по церковному хоронят?!.

— А он, наверно, сам за час до смерти к Богу запросился, так они „умники" всегда, как их пристукнет, — отозвался кто-то из певчих. Регент со странным вниманием смотрел на старосту и, неожиданно спросил:

— Вы сказали, Торгановский? какой?.. известный социалист? —

— Да, Павел Семенович, я знал его сам, когда еще в России служил в тюремной команде... — ответил тихо староста.

— А вы думаете, я его не знал по процессам и ссылкам в Сибирь? — желчно процедил регент, и побагровев добавил:

— Это ему-то я буду возносить „Вечную Память?!"
— Что-то беззвучно сорвалось с губ бывшего жандармского полковника.

— Вспомните причту о блудном сыне, Павел Семенович... — внушительно проговорил староста, быстро покидая хоры.

Федосеева испуганно посмотрела ему вслед и точно тронутая его словами, присмирела, укрылась богомольным смирением.

Торжественно донесся голос отца Михаила:

— Вечная — а — аая паа — мяять...

Под сумрачным взглядом регента, грянул весь хор:

— Вее — чная паа — мять . . .

А Федосеева, припав к перилам, уже умиленно, в набожном экстазе, шептала в сторону гроба:

— Сердешный . . . даже с выносом захотел. Помилуй . . . раба Божьего, усопшего . . . Со святыми упокой...

ГОСТЕПРИИМСТВО

Без всякой подготовки или надлежашего настроения, за мирным обеденным столом, Нина Николаевна Вершинина, заявила своему мужу, Федору Матвеевичу, что она раз навсегда покончила со всеми русскими знакомыми в Нью Иорке; больше никогда не устраивает у себя вечеринок, карт, и даже не намерена кого либо приглашать на день рождения Котика в следующее воскресенье.

Последнее заявление Нины Николаевны было ошеломляющим. В продолжении последних восьми лет, Вершинины не пропускали дня рождения своего единственного сынишки. Несмотря ни на какие обстоятельства, праздник их ребенка всегда обставлялся радостным гостеприимством. К обеду приглашалось не менее десяти человек, к ужину еще кое кто заглядывал, а если усаживались за карты, то уж до утра.

У всех близких друзей Вершининых, день рождения Котика был в памяти. Вот почему трудно было отнестись серьезно к словам Нины Николаевны. Федор Матвеевич только взглянул на жену, как бы с насмешливым удивлением.

Она знала эти скептически насмешливые взоры мужа, так часто относившиеся к ее словам, замечаниям. Но на этот раз она не на шутку обиделась и произнесла вспыльчиво, с горечью:

— Ты сидишь целый день в банке и не видишь ничего, кроме бухгалтерских книг ! Ты не знаешь, что творится в нашей повседневной жизни, и как за последние годы, все, все изменилось до неузнаваемости, особенно

люди, наши русские люди! Их узнать нельзя, понять... они потеряли порядочный облик, хуже иностранцев!

Нина Николаевна остановилась, нервно отодвинула от себя прибор и, почти в отчаянии добавила:

— Ведь я тебе еще ничего не рассказала, Федя!

Он перестал есть, опустил ложку и в его добродушном взгляде появилось некоторое внимание, даже какой то вопрос готов был сорваться с губ. Но жена говорила уже быстро с возмущением и едкостью.

— На днях звонил нам Андрей Филиппович, поздравлял заранее с рождением Котика, обещал в подарок прислать новую колоду карт, и извинялся, что сам прийти не может, так как у нас наверно будет Семенов, а он с такими типами, которые так широко раскрывают свои объятия всяким Ди-пи, больше не встречается!.. Приблизительно, такой же разговор был у меня с Теминой. Она душевно разделяет наш праздник, а сама не будет, потому, что за последнее время, из-за споров в русских домах у нее появилось полное нервное разстройство и раздражение носоглотки... Не забыл нас и милейший Сидор Николаевич, просил извинить его, что давно не давал о себе знать, но он стал членом какого-то общества, многое для него изменилось в жизни и он старается не встречаться с людьми, кроме собратьев того же направления. А какого направления, он так и не успел сказать, у него не оказалось второго гривенника бросить в аппарат...

— Ясно, что не капиталистического... — проронил Федор Матвеевич. Нина Николаевна неслась дальше:

— А Ларисса Георгиевна, вдруг спрашивает по телефону, — будет ли у нас ее муж? — Кому же это знать, как не вам, милая, отвечаю я. Оказывается она уже месяц с ним не видится и не разговаривает. Поссорились из-за ее родственников, которых она хочет выписать из Европы. —

— Ну, это еще ничего, на прошлой неделе, какой-то тип убил свою жену, когда она только заикнулась о своих родственниках, — заметил Федор Матвеевич.

— Ты, как будто, оправдываешь такое убийство? — вспыхнула Нина Николаевна.

— Нет, я предпочел бы сам повеситься, — ответил Федор Матвеевич, и в его голосе опять послышалась усмешка, которая подействовала на нервы Нины Николаевны, как лезвие ножа. На ее глаза навернулись слезы, она заговорила, как-то жалобно:

— А как тебе нравится мой разговор с Нютой? Она обещала прийти к нам только в том случае, если я приглашу какого-то блондина американца, у которого завелся новый „Форд". Она сказала, что для нее этот „блондин с Фордом" составляют летние каникулы. Так и выразилась: „Блондин, Форд, море"... А когда я передала этот разговор Елене Стрелковой, я ее встретила в синема на русской картине, она объявила, „что с такой дурой, она не намерена встречаться у нас и, что тип Нюты — это чистейший продукт гниющей буржуазной Америки, со всеми ее фашистскими замашками, тогда как она сама, теперь идет нога в ногу с новыми переустройствами мира, и к более здоровым формам. А видел бы ты ее формы! ни грудей, ни бедер, какая-то селедка стала...

— Не плохо послать ее лечиться в Советский Союз, — вырвалось у Федора Матвеевича. Нина Николаевна продолжала в волнении:

— А наш генерал-то? он вчера в лавочке покупал себе картошку на обед, я приглашаю его к нам, а он отвечает: „Пришел бы с удовольствием, да ведь у вас мой сын бывает, опять подеремся"... А давно ли ты видел симпатичного Быкова? Я его узнала в автобусе, и он стал ко мне спиной. Помогло нашей встрече только то, что мы оба во время толчка ухватились за одну

и ту же палку. Тут он стал рассказывать мне что-то долго, непонятно, будто бы недавно напечатал какую-то книгу или брошюру „О братстве народов", и теперь от всех держится в стороне, нигде не бывает и бывать не желает. От злобы свою улицу пропустил... Теперь же, слушай, твой старичек Савельич ! Нина Николаевна точно испытывала удовольствие от этих разоблачений, разрумянилась: — Этот старичек, оказывается в обиде на тебя, за то, что ты ему посоветывал устроиться в дом для престарелых. Говорит, „Меня еще никто так не оскорблял. Я, можно сказать, жениться собираюсь, а он меня на покой"...

— А Сергей не давал о себе знать ? — спросил Федор Матвеевич, в его голосе послышалась новая нотка, он задумчиво побарабанил по столу пальцами. Нина Николаевна с испугом взглянула на мужа и произнесла глухо:

— Сергей звонил сегодня... он купил себе могилу и теперь, каждое воскресенье строит вокруг нее ограду .. сказал: „Знаете, чтобы получше оградить себя от всякой ссв..."

Нина Николаевна не договорила и самым неожиданным образом расплакалась. — Что с ними сделалось?.. ты скажи, что с ними сделалось... шептала она сквозь слезы. Рука мужа ласково коснулась ее дрожащих пальцев. Слова его звучали мягко и весело:

— Ничего с ними не сделалось, Нинуся, это времена, нервные, переходные. А человек всегда — жертва времени... — Федор Матвеевич встал добавляя: — Теперь, вот и нужно, особое радушие, чтобы не замечать этого и не нарушать самого ценного, родного, дружеского очага... —

Как ?.. после всех оскорблений, иметь их у себя ? молить о приходе ! звать блондина с Фордом ?.. взмо-

лилась Нина Николаевна. Но выражение ее лица смягчилось.

Не беспокойся, — слышала она голос мужа, — они придут в наш дом, как приходили все эти годы. Предоставь эту заботу мне. А твое дело хозяйское. Приготовь побольше закусок, чтобы гости и опомниться не могли, как перед ними предстанут всякие заливные, запеканки, на что ты мастерица. И не забудь спечь пирожки, которые так любит наш огорченный автор „Братства народов". А „покойнику" Сереже я напишу, что мы с ним обязательно „сразимся" в бридж. Неужели ты сомневаешся, что генерал пропустит на девятый год, покачать на коленках Котика?

С этими словами и с улыбкой, Федор Матвеевич направился в свою комнату, оставив Нину Николаевну одну, но повеселевшую; вернувшуюся к своему благодушному настроению и к чувству теплого гостеприимства их русского дома.

ВЕЛИКАЯ НОЧЬ

Первые дни января стояли тихие, сумрачные. За американским селением, среди лесистых холмов, где как-бы укрывается от мира русский православный монастырь, тишь и сумрак в природе сливались с настроением монастырской жизни: это были дни строгого поста и молитв перед праздником Рождества.

Недавно выпавший снег еще держался на земле. Главная дорога от ворот была тщательно расчищена, и в стороне, между тонкими березами темнела узкая дорожка, ведущая к сиротскому дому.

В сочельник, перед Великим Повечерием, когда в неподвижном, темнеющем воздухе раздался мягкий гул церковного колокола, на узкой дорожке показалась высокая, тонкая фигура о. Алексия. Глаза священника были опущены и его сросшиеся брови, небольшая остроконечная бородка делали его лицо строгим, вдумчивым, каким оно всегда бывало у него во время богослужений. Руки его сосредоточенно сжимали крест на груди, как в минуты произносимых им молитв и проповедей.

С приближением к небольшому двухэтажному дому, лицо о. Алексия заметно преобразилось. На его губах появилась улыбка, тихая, задумчивая, она отразилась в его светлых глазах, которые были обращены к приюту, где находились дети-сироты, пригретые монастырем.

Вокруг приюта была тишь, но детская жизнь оставила повсюду свои следы: между двумя деревьями висели сломанные качели, большой мяч странно задержался на снежном бугорке, чернели брошенные детские лопаты,

салазки, и возвышался традиционный снежный дед с усами из еловых веток.

О. Алексий с нарочитой осторожностью подходил к дому, но при его приближении что-то встрепенулось на крыльце, и сразу показалась маленькая румяная старушка, укутанная в теплый платок.

— Что, спят уже, Агафья Ильинишна ? — спросил священник, нисколько не удивившись ее внезапному появлению. Старушка не ответила, она как-бы задохнулась от радости при виде о. Алексия. Быстро спустилась с крыльца и подошла под его благословение.

— Устала, небось, с детворой сегодня ? — сказал он ласково.

Ох, батюшка, с трудом угомонились ! Елки, коляд дождаться не могут. Матушка приказала всем на час раньше лечь спать, да они, озорники, все в окна смотрели, вас дожидались, хотели про святой праздник послушать. —

— Обещал я им, Агафья Ильинишна . . . не мог раньше прийти, сейчас урвал минутку. Ну, ничего, сам здесь немного отдохну, да и в церковь будет пора, — сказал он тихо и добавил: — Я, вот, смотрю и глазам не верю, какая площадка для игр выросла у них за эти годы. А помнишь Агафья Ильинишна, когда здесь даже дорожки не было, одно запустение, а в доме две комнатушки . . . теснота ! —

— Мне-ли не помнить, батюшка ! — вскрикнула старушка весело, открыто взглянула в его лицо и, вдруг, словно испугавшись чего-то, замолкла, притихла вся. Взгляд священника уносился через ее голову к дому, к окну ,которое она угадала безошибочно. Так ясно она поняла и его мысли, когда он сказал: „ А помнишь, Агафья Ильинишна ”

И старушка быстро отошла от о. Алексия, оставив его одного с дорогими ему воспоминаниями.

* * *

Девятнадцать лет прошло с тех пор, как о. Алексий, в своем скромном, дьяконском одеянии приходил сюда к детям, как их учитель и друг. Тогда он был новопришельцем в монастыре. Но о нем многое знали. В России он был студентом-медиком, а очутившись после разгрома родины во Франции, пошел по пути, ближе к Богу. Верной спутницей в его жизни была его жена, матушка Екатерина. Оба молодые, энергичные и глубоко верующие, они безвозмездно вкладывали много труда в монастырскую жизнь, трудную, полную лишений. На монастыре лежали тяжелые долги, богомольцев было мало, еще меньше жертвователей, а монастырская братия увеличивалась, прибавлялось и количество русских сирот. Главная забота монастыря о детях была, находить им приемных родителей. Новоприбывший дьякон Алексий, в своей беседе с настоятелем монастыря, Игуменом Леонтием, говорил о важности воспитания русских детей на чужбине, и тогда-же предложил свои и женины услуги: — она будет смотреть за ними, а он — учить их русскому языку и Слову Божьему.

Настоятель, чувствуя какие-то особенные духовные качества молодого, образованного дьякона, принял его предложение радостно и дьякон Алексий был назначен наставником и учителем приюта. Им была создана детская школа, а матушка готовила на детей и обшивала их.

В эти дни в приют пришла пожилая женщина с трехлетним младенцем, Васей Чугуновым. Его мать умерла скоропостижно, а за год до этого погиб отец, шахтер. Приведшая мальчика Агафья Ильинишна Рябушкина хорошо знала его родных. Когда по ее мольбе, приют принял нового сироту, Агафья Ильинишна упала к ногам о. Алексия, матушки Екатерины и горячо просила их, не отсылать ее обратно в мир, где она была со-

вершенно одинокой, а принять ее, как чернорабочую в детский дом. Ее оставили.

Вася Чугунов рос красивым, белокурым, но хрупким мальчиком. Его все любили, а он с первых же дней жизни в приюте тянулся ручонками к дьякону Алексию. Это было началом их взаимной, глубокой привязанности.

Маленький Вася еще не был зачислен в приютскую школу, но отец дьякон уделял специальное время для занятий с ним. Мальчик проявлял редкие способности, скоро он затвердил молитвы, научился читать по складам. О. Алексий говорил о нем с теплой похвалой, часто заканчивая словами: „Дал-бы только ему Бог здоровья".

Васе шел шестой год, когда он участвовал в школьном детском спектакле. Говорил басни, пел песни, да еще приплясывал. А на следующий день разнесся радостный слух, что Васю хочет усыновить одна бездетная и зажиточная чета, из старых эмигрантов, которые присутствовали на детском празднестве и сразу полюбили его. Они внесли щедрую лепту на храм и обещали вернуться через неделю за Васей.

Но к этому времени Вася лежал тяжело больной воспалением легких. О. дьякон каждую свободную минуту проводил у постели мальчика. Он слышал утешительные слова врача, приезжавшего из города, но понимал, что Вася болен опасно. Печаль о. Алексия была глубокой. Он много молился и постился. Те, кто видели его в эти дни, говорили, что странная перемена замечалась в нем: лицо его точно светилось. А Агафья Ильинишна слышала, как он коленопреклоненный у постели Васи произносил молитву:

„Слава Тебе Господи . . . Слава Тебе, что Ты дал мне почаще вспоминать о Тебе . . . Если все от Тебя, Господи, к лучшему, то и болезнь к лучшему, чтобы опомнился человек и тем заслужил большую награду . . ."

На десятую ночь болезни Васю причастили, а на утро мальчик спал крепким сном, несущим выздоровление.

Поздним вечером этого-же дня о. дьякон гулял с матушкой по монастырской дорожке и говорил ей, что в болезни Васи он видит волю Божью, чтобы мальчик не уходил из монастыря и из их жизни, что Господь велит им хранить сие дитя с лицом и душой ангельской и усыновить его. Матушка, никогда не имевшая своих детей, тихо заплакала и в этих слезах выразилась вся ее материнская радость.

Новость сразу стала известной в монастыре. Она дошла до Игумена. Настоятель немедленно вызвал к себе о. дьякона.

— Сын мой, — начал игумен, — рад был-бы благословить тебя и жену твою на сие благое дело, ибо верю, что нет более достойных отца и матери для отрока Василия, но неисполнимо ваше желание. Жизнь ребенка не только требует благочестивой веры и любви родителей, но и материального благополучия. Таков здравый взгляд всех попечителей в Америке, таков и мой... А ты, о. дьякон, ведь всегда будешь в лишениях, потому что далека твоя душа от земных достояний. Слыхал я, что ты даже отказался от своей кружки, а у ап. Павла сказано: „Всякий служащий алтаря питается от алтаря".

Что-то дрогнуло в лице о. дьякона, он почти перебил настоятеля:

— Прости меня, отче святый, но я полагаюсь на богатство веры Христовой. На земле много горя, нет ему конца, и только вера может дать утешение и силу. Она помогла мне вынести страшные испытания, вернуть радость в жизни. И такое богатство от Господа я хочу дать сыну моему Василию, ибо — „Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает"... закончил он тихо.

Игумен на мгновение задумался. Тень смущения

пробежала по его лицу, но он опять медленно, отрицательно покачал головой.

— Так, о. дьякон. Но во мне говорит разум человеческий. Василий — дитя хилое, не может он жить в лишениях, и не могу я, как бы ни хотел, благословить тебя на этот шаг.

Заметив сильно омрачившееся лицо о. Алексия, настоятель добавил:

— Не скорби, сын мой. Твоими молитвами будет счастлив и спасен Василий. Та бездетная чета, которая собиралась усыновить отрока Василия не вернулась, но давеча у меня были американцы из здешних фермеров, своих пятерых детей имеют и еще хотят взять мальчика из нашего монастыря. Обещали большое пожертвование, а ведь нам необходим приток денежных средств.

О. Алексий взглянул открыто, смело на игумена и словно впервые увидел его лицо, слабое, без света...

Приближалась весна. Вася окреп. Хорошо учился в школе и, как это часто бывает после перенесенных тяжелых болезней, вырос духовно, сознательнее воспринимал окружающую его жизнь. Он полюбил церковь и стал прислуживать в ней. В часы Богослужений был ближе к своему учителю. Отцу Алексию тоже было отрадно видеть в храме дорогого ему ребенка. И глубоко скрыта была в нем пережитая боль, какой-то неисцелимой обиды.

Незадолго до праздника Троицы, наступил ожидаемый поворот в жизни Васи Чугунова. Он был официально усыновлен семьей фермеров и должен был навсегда покинуть монастырь после праздника.

Вася был подготовлен к этому событию. Он знал людей желающих принять его под свой покров. Он был на их ферме, подружился с их детьми, которые отнеслись к нему ласково; показывали ему большое количество скота и птиц.

Васю тянуло к такой жизни, но в тоже время он чувствовал, что от него отрывалось что-то более родное и дорогое.

В день отъезда, Вася не по детски глубоко переживал разлуку с монастырем, с дьяконом Алексием, который подарил ему на прощание иконку Спасителя и долго благословлял его на новую жизнь.

* * *

С тех пор прошло много лет. Многое изменилось в жизни монастыря. Игумен Леонтий был уволен на покой. Новым настоятелем стал Епископ Иоанн, — энергичный, деятельный, всеми силами старавшийся улучшить положение монастыря. При нем был построен дом для гостей, стал вместительнее детский приют, разросся огород, был обновлен храм. Дьякон Алексий с матушкой покинули монастырь и совершенно оторвались от его жизни. Стороной доходили слухи, что дьякон Алексий был рукоположен в священники, где-то получил скромный приход и, что его любили прихожане за чистоту его пастырской души.

Разразилась вторая мировая война. Наступил и год радостного торжества, конец войны и ликование победы.

Монастырский колокол не переставал возносить гимн благодарности к небесам. Его гул несся далеко к вечно-зеленым холмам.

Праздник Рождества обещал быть многолюдным. Ждали гостей из духовенства и мирян.

Ждали о. Алексия и матушку Екатерину. Священник пожелал приехать и отслужить праздничную службу в храме.

Старушка Агафья Ильинишна, которая не покидала приюта, благодарила Бога за исполнение ее молитвенной просьбы — увидеть о. Алексия и матушку.

Это чувство радости она испытывала теперь каждый раз при виде их.

Так и возвращались к ней прежние годы их жизни и забот подле сирот. Вспоминался белокурый Вася.

Сейчас она поняла, с какой силой память о нем охватила о. Алексия, как сгорбился он весь под тяжестью этих воспоминаний, сидя на ступеньке крыльца.

— Ну, пора, — произнес он, вдруг подымаясь и ища глазами пропавшую старушку.

Пора, пора, батюшка! Слышу птенцы мои просыпаются. Одевать их время . . . — встрепенулась она где-то вблизи.

— Передай птенцам, что я ночью, у елки расскажу им про Святого Младенца — сказал священник, бросив на нее задумчивый взгляд и пошел медленно обратно по темной дорожке.

К вечеру небо очистилось, показались звезды. К ночи они заблестели ярче. Засветились окна храма и всей монастырской обители;

„Яко родися днесь Спас, иже есть Христос Господь" . . .

У заженной елки, в монастырской столовой, дети пели хором:

„Рождество Твое, Христе Боже Наш".

В столовой народу набилось много, присутствовало духовенство. О. Алексий сидел у большого стола. К нему липла группа детей. Он рассказывал им о новорожденном младенце Христе, про пастухов и Вифлиемскую звезду. Детвора ждала все новых, чудесных рассказов от него. Выручила матушка Екатерина; она забрала детей к елке для раздачи подарков. А к отцу Алексию подошел молодой монах и сказал, что кто-то приехал к нему, дожидается на дворе.

Священник пошел к дверям. Он не успел открыть их, как на пороге появилась высокая фигура в форме

американского солдата. Его глаза столкнулись со взглядом отца Алексия и блеснули радостью.

— Узнаете о. Алексий ? — спросил он по русски, с сильно американским акцентом.

Священник не узнавал. Но сердце вдруг подсказало.

— Вася ! .. сорвалось с его губ.

Морозный воздух охватил их, когда они вышли за дверь. Вася хромал и у о. Алексия больно сжалось сердце. Он спросил:

— На войне был ранен, Вася ? .. —

— Да, отец. Но Бог был милостив ко мне, я не потерял ноги. Я вернулся домой в конце декабря, к празднику „Кристмас" в моей семье. Но мой праздник наступил сегодня ночью и я все стремился сюда. Я узнал, что вы здесь . . .

— Вася, но у тебя какое-то горе ? — дрогнул голос отца Алексия. Он вглядывался в взволнованное и сильно бледное лицо молодого человека.

— Нет, отец, я счастлив ! Я жил в хорошей, доброй семье. Но я никогда не забывал вас, ваших поучений, молитв. Особенно на войне, где я видел много страданий, ужасов . . . Я много пережил там и узнал счастье веры . . . и ко мне пришла мысль, если я вернусь здоровым . . .

Вася смолк, опустился перед священником на колени смотрел на него ясным, твердым взглядом — отец, начал он; я знаю, вы хотели меня иметь своим сыном и не могли. Приймите меня теперь в сыновья духовные . . . Я хочу постричься в монахи . . . Отец Алексий и Вася не произнесли больше ни слова, оба потрясенные в тиши Великой Ночи.

ГОСТЬ ИЗ МОСКВЫ

С 1922 года Николай Васильевич Лугин, капитан старой русской армии, служил в одном из первокласcных отелей Нью-Иорка.

Представительная внешность и знание языков, особенно английского, который он изучал еще в России, помогли ему занять в отеле должность „клерка" (конторский служащий). Его там немедленно окрестили „бароном" и, как Лугин ни старался оградить себя от пышного титула, ничего не помогало. Главный управляющий отеля, мистер Рой, американец обаятельной наружности и деликатных манер, заявил Лугину, что звание „барона" ему очень к лицу, к его светлым усикам, а отелю его титул как раз на руку.

В те годы, после революции в России и в связи с громадным наплывом беженцев в Америку, в Нью-Иорке стала большая мода на русских аристократов, а мода в Нью-Иорке, это все !

Постепенно с обязанности „клерка" Николай Васильевич был повышен на положение „кейтеринг мэнаджера" (заведующий банкетами) и стал вообще незаменимым человеком в отеле, где со вкусом и образованием „русского барона" считался весь служебный персонал. Особенно его жаловал мистер Рой. Не говоря уже о мисс Долли, заведующей цветочным отделом.

Каждое утро Николай Васильевич влетал к ней за свежей белой гвоздичкой для петлицы своего пиджака, неизменно оставляя на ручке мисс Долли быстрый, грациозный поцелуй. В этом как-бы сказывалась галантность русского офицера. Правда, хорошенькая, рыжеволосая цветочница все надеялась, что когда нибудь

„барон" задержит ее ручку и скажет ей что-нибудь более грациозное и значительное, но на этот счет русский капитан был очень сдержан, быть может потому, что он был женат.

В долголетней жизни фешенебельного отеля, в порядок его изысканного гостеприимства, входило правило — приветствовать каким нибудь особенным вниманием гостя, если этот гость являлся выдающейся личностью. Так например: артисткам экрана посылались цветы, а именитым мужчинам спиртные напитки, иногда наоборот.

Когда над Америкой нависла туча 2-й Мировой войны, величественный вид Нью-Иорка не изменился. Но по примеру прошлых тревожных лет, он был наводнен беженцами, теперь уже со всех концов мира. Его суетливая, нервная жизнь отражалась и на жизни отеля. Все „сюиты" были заняты, большей частью людьми из политических сфер, а также крупными коммерсантами из Европы.

Лугин был занят как никогда, но ничто не изменяло его внешнего довольного вида, не отражалось на его нервах, хотя он занимал новый ответственный пост „флор мэнаджера" (главный распорядитель). Теперь он постоянно находился на виду в изящных полосатых брюках, черном пиджаке с той же белой гвоздичкой и ему не раз приходилось быть переводчиком для иностранных гостей. Его английский язык сменялся французским, итальянским и даже португальским.

В этой новой жизни отеля, в дни всяких возможных случайностей, произошло нечто непредвиденное, сразу нарушившее гармонию службы и жизни Николая Васильевича.

Однажды он явился в отель, в обычное время, к девяти часам утра и только готов был скользнуть к мисс Долли за гвоздикой, как увидел мистера Рой. Америка-

нец подходил к нему с необычной поспешностью и, как показалось Лугину, со странной озабоченностью.

„Что случилось? в чем я провинился?" — с невольным испугом пронеслось в голове Николая Васильевича и он даже вздрогнул, когда управляющий подошел к нему вплотную, слово хотел ударить, но произнес тихо, поспешно:

— Барон, у нас, со вчерашней ночи, остановился советский генерал Утенов, с супругой. Сейчас звонили из советского консульства, что нам пришлют переводчика, так как генерал не говорит по-английски, но независимо от этого я прошу Вас, барон, во все время пребывания советского гостя позаботиться о нем. Как вы знаете, барон, Советская Россия сейчас в дружбе с Америкой — как с союзной державой и мы должны даже нашими силами содействовать этому великому объединению. К сожалению, мы не знаем русских так, как вы их знаете, и это ваша задача, чтобы советским гостям было оказано у нас особенное внимание и гостеприимство.

С этими словами мистер Рой дружелюбно похлопал по плечу Николая Васильевича, не замечая его изменившегося лица. Но кто мог угадать, что происходило в эти минуты в душе бывшего русского офицера и что одно слово „советский" хлестнуло его сильнее и чувствительнее, чем действительный удар от руки мистера Рой.

Что то тяжкое и грозное, давно уснувшее в его душе, всколыхнулось со всей силой, подняв переполох в чувствах и мыслях. Это был первый советский человек, который остановился у них в отеле, первый появившейся на его пути, после жутких годов революции. И вот теперь ему предстояло встретиться с ним в самой мирной обстановке и... позаботиться о его комфорте.

В первую минуту удивления, даже испуга, Лугин готов был перебить американца, напомнить ему, что он старый русский офицер и что глубокая пропасть

лежит между ними, им и советским человеком. Но он ничего не сказал. Волна новых противоположных мыслей захлестнула его, вызывая бурю самых неожиданных чувств, скорее похожих на радость, радость которая вдруг до боли коснулась его сердца, сознания, что он сейчас может увидеть боевого генерала из Москвы, чей образ не раз мерещился ему.

За эти годы войны Николай Васильевич живо интересовался событиями на родине, следил за ожесточенными боями, страдал от больших потерь русских и радовался их победам. Эти чувства были сильнее его разума, его захватывала какая то своя радость военного, русского и даже не раз слышался ему взлет знакомой, родной полковой песни, славы, криков ура...

Это были чудесные мгновения для Николая Васильевича. Он совершенно забывался в них, и в нем как бы сглаживалась острота ненависти к советскому бойцу, к тому же надевшему погоны и чтившему память Суворова. И порой ему хотелось увидеть „его" — героя нового века родины, исполненного духа той же славной русской армии.

Лугин не имел никакой связи с советскими людьми. Слыхал, как обособленно они себя держат в Америке и постепенно забывал о своем желании. И вот нужен был этот случай, чтобы всколыхнулось в нем все сызнова...

Щеки Лугина горели, как горела его душа, а ответил он со своей обычной сдержанностью, корректно:

— Все будет в порядке, мистер Рой.

Американец добавил с улыбкой: — У меня явилась не плохая идея, барон! Вы сейчас же поднимитесь к генералу Утенову, сюита 70, и пригласите его с супругой к завтраку со мной в банкетной гостинной. Скажем в час тридцать...

— Все будет в порядке, — повторил Лугин тем же

тоном, а в душе его опять вздымалось волнение и неразбериха чувств.

Через несколько минут он поднимался на седьмой этаж, в номер занимаемый советским генералом. Некоторые вопросы охватывали его до лихорадки.

„О, наивный и добродушный американец, мистер Рой, который решил, что ему русскому лучше знать гостя из Москвы, когда он был даже неуверен, как обратиться к нему. Не назвать же его „Ваше Превосходительство ?" И гражданином не назовешь, генерал ведь! Значит остается только шарахнуть по ихнему — „Товарищ." Фу, какая пошлость ! И какой он ему товарищ ? И вообще, не взглянет ли на него сейчас советский генерал, как на подосланного шпиона, сыщика — подлеца, которые теперь постоянно снуют в отелях . . ."

Пот покрывал лицо Николая Васильевича. Он уже стоял у двери генерала, робко стучал в нее. Но как только он очутился в комнате, он произнес громко, без всякой запинки:

— Генерал Утенов ! — и сам удивился, как у него это выскочило смело, легко.

Гость стоял перед ним с полотенцем в руках, видимо после бритья. На нем была белоснежная рубашка, галифе, блестели шикарные сапоги. Генеральский мундир висел на спинке стула. На мундир Лугин сразу обратил внимание, особенно на генеральские погоны, невольно подумал:

„Ишь, себе пошире сделали . . ."

Затем он жадно, пытливо охватил взглядом всю фигуру генерала: рослую, красивую; и в эту минуту нервная дрожь пробежала по его телу, он натолкнулся на взгляд больших, серых и острых глаз.

„Определенно видит во мне сыщика, предателя" . . . болезненно пронеслась у него мысль, он проговорил тише, растерянно:

— Ваше пре... мистер генерал... я послан к вам от администрации отеля. Я здесь единственный русский служащий... если могу быть вам чем нибудь полезен...

— Очень приятно, давно служите здесь? — спросил Утенов, резанув слух Лугина спокойным и холодным тоном.

— Я служу здесь свыше 20 лет...

— Вы — бывший русский офицер? — перебил его Утенов.

— Да! Я участник первой великой войны, Николай Васильевич Лугин! — с внезапным пылом отрекомендовался капитан и посмотрел почти вызывающе на советского генерала. А в голове у него безудержно неслись слова:

„Участник ледяного похода, да, белый! И вот пришел к тебе, красному командиру с русским приветом, как к славному защитнику родины, а ты, чего пялишь на меня свой недоверчивый, ястребиный взгляд"...

Утенов в самом деле словно пронизывал его глазами. Слова его звучали с тем же спокойствием и холодностью:

— Если что понадобится, я Вам дам знать. Как Вы сказали Ваше имя?

— Лугин. Но достаточно будет сказать, что Вы хотите видеть барона... то есть, это чисто случайно, я не барон.

Генерал его не слушал. Он отошел в сторону и стал надевать свой мундир. Как бы намекая Лугину, что он может удалиться. Но Николай Васильевич не двигался. В военном мундире, фигура Утенова стала выше, стройнее, внушительно заблестели многочисленные ордена. Трудно было оторвать глаза от него. Перед Лугиным предстал именно русский полководец! Та же выправка, та же энергия в лице, в глазах. Но какая сила

леденила эти выразительные черты ? — делала их чуждыми, неприятными.

Утенов не произнес больше ни слова и наступившая пауза, тишина, заставила Лугина опомниться, медленно двинуться к двери. Как вдруг он вспомнил, произнес:

— Простите, генерал, наш главный заведующий, американец, мистер Рой, приглашает Вас и Вашу супругу пожаловать на завтрак с ним. Что прикажете передать ?

— Вернитесь сюда через 20 минут, я Вам дам ответ, — сказал Утенов.

Лугин с быстрым поклоном вышел. Такого ответа он как то не ждал, в нем почувствовался какой то отклик. И мигом все просияло для Николая Васильевича. Верилось, что следующая встреча с генералом будет иной, возможно будет разговориться, узнать про Москву, старую дорогую Тверскую...

И чем дальше Лугин отходил от комнаты Утенова, тем ярче он видел его перед собой.

„Только Россия порождает таких молодцов!" — подумал он с гордостью и мысленно добавил:

„Да, ведь и мы когда то были орлами, а теперь ?" Николай Васильевич посмотрел на себя в зеркало и, как никогда еще, обратил внимание на свое худое тело в костюмчике „свадебного шафера". И опять ему вспомнилась фигура генерала.

„Хорош, ничего не скажешь! И чем объяснить, что он мне так безумно понравился, будто в нем увидел всю мою Россиюшку. Эх, кабы возможно было забыть все, обнять его крепко, троекратно поцеловаться, назвать — „Утеночком" ...

Лугина увлекали сладкие мысли, что с такими людьми, как генерал Утенов, да, возможно возрождение родины, ее народов. Мерещилось свое чудесное возвращение домой.

Он спустился в фойе и направился в кабинет мистера Рой. Голос его звучал восторженно:

— Через 20 минут генерал Утенов даст ответ насчет завтрака. А пока не послать ли им в комнаты цветов ?

Пошлите, барон, — ответил американец. Занятый просмотром каких то бумаг, он, казалось, был менее заинтересован советским гостем, но Лугин находился в огне своих переживаний. Ему впервые хотелось от себя приветствовать отельного гостя. Он немедленно бросился к цветочнице.

— Моя милая, дюжину роз! — воскрикнул он рыжеволосой барышне, которая не без удивления обратила внимание на необычно приподнятое настроение барона.

Это для „ Мисс Америка " ? — спросила она и добавила: — Вы видели ее голубой соболь ? Говорят, ей дали его надеть на один день ! — она ехидно засмеялась.

— Нет, это не для мисс Америка, а для мистера Россия ! — сострил Лугин, принимая от нее букет белых роз и вдруг, как бы озадаченный, уставился на цветы.

„ Белые, белые розы, а не подумает ли он, что я ему нарочно от себя . . . Вот тебе, мол, от белого в нос !" — пронзила его мысль.

— Что с вами, барон, плохо пахнут ? — спросила мисс Долли, заметив гримасу на лице Лугина.

— Дайте мне других ! Красных, только красных ! — вскрикнул он. Мигом букет алых роз очутился в его руках, но и на них Лугин смотрел с испугом.

„ Красные ! ? — ведь он может принять это, как дерзкий намек; вот тебе твое излюбленное красное, красный ты командир, будь ты неладен ! "

— Не надо, не надо никаких цветов ! — кричал он и, бросив розы оторопевшей барышне, унесся вон.

Он снова стоял перед мистером Рой.

— Я решил не посылать генералу цветов. Гостя из Москвы нужно приветствовать русской водкой ! — говорил он повеселев.

— Прекрасная идея, барон, — улыбнулся американец и добавил: — мы сейчас пойдем к Джо и выберем бутылку.

Направляясь к бару, Лугин все более восхищался своей затеей. „Это растрогает его по настоящему, Утенов именно поймет родной привет".

Расторопный ирландец, с магической быстротой, расставил перед ними ряд различных водок. Мистер Рой указал на самую высокую бутылку, сказал:

— Вот эта на вид хороша, хотя я ничего не понимаю в ее вкусе. Лугин сделал моментально отрицательный жест головой, заметив:

— Невозможно ... „Смирновка" — на ней царский герб.

— Пошлите тогда эту, — показывал американец на другую бутылку.

Лугин и на нее странно покосился, замотал головой.

— Никак нельзя, — „Польская"! У них сейчас ужасные отношения с Польшей. В Москве только что судили поляков за предательство, а я ему польскую водочку ? Никогда !..

— Что общего имеет московский трибунал с водкой ? — не удержался от улыбки мистер Рой.

— А то, что Ваш отель будет навсегда отвергнут советскими властями ! — ответил Лугин.

— Тогда бросьте, барон, посылать что либо генералу и не отменить ли нам завтрак ? — проговорил американец, словно потеряв всякое терпение с непонятными ему русскими и поспешил от бара. Но Лугин схватил его за рукав.

— Мистер Рой, придумал ! Я приготовлю сам водку. Я делаю чудесную и быстро !..

О, это была еще удачнее мысль ! Ведь тем фактом, что он приготовит водку сам, он как бы без слов выскажет Утенову те чувства, которые овладели им при их встрече и не оставляют ни на минуту. Да, пусть родная, огненная влага согреет русскую душу, приблизит к своим кровным братьям !

Через несколько минут, вся отельная кухня всполошилась: мылись бутылки, разливался спирт, разносился запах жаренной лимонной корочки. Отельные мальчишки, сломя голову, бегали в аптеку за глицерином, ватой. Сам мистер Рой принимал участие в „колдовстве". Засучив рукава, он возился с Лугиным над кастрюлей, распространявшей головокружительный запах. Наконец, с тончайшим искусством, водка была разлита в бутылки, с быстротой замороженна. Одну Лугин отдал лакею к завтраку, а другую понес на 7-й этаж, захватив стаканчики.

Дверь в комнаты Утенова была полуоткрыта и на его стук вышел отельный слуга. Он сказал, что русский генерал с женой ушли.

Николай Васильевич был уязвлен, но тотчас же вспомнил, что это была его оплошность. Утенов ему сказал вернуться через 20 минут, а прошло больше часа. И вдруг Лугин почувствовал некоторое облегчение от отсутствия генерала. Он быстро вошел в его номер, поставил на стол свой „сюрприз" и оставил записку по-русски: „Добро пожаловать !"

После всех этих переживаний, Лугин почувствовал себя настолько утомленным, что впервые за много лет службы отпросился домой. По дороге он не переставал думать о генерале, представляя себе, как он будет тронут его вниманием. А дома, с женой, он строил планы, как они пригласят к себе гостей из Москвы, угостят по домашнему. Засыпая на кушетке, он долго бормотал:

— Сделать селянку, пирожки, кашу с грибами,.. селедку.

На следующее утро Лугин пришел в отель раньше обыкновенного и его первый вопрос был о „советском генерале”.

— Сегодня в 7 часов утра выехали с супругой, — последовал краткий ответ.

Без свежей гвоздики, совсем забыв о ней, Лугин подымался на 7-й этаж с одной и последней волнующей его мыслью:

„Взял ли Утенов с собой его подарок?” И он боялся прислушаться к какому то подсознательному голосу, который его не обманул. При входе в комнату он увидел свою бутылку водки, как он ее поставил. Только записка лежала в стороне, видимо прочитанная и небрежно отброшенная.

Лугин долго смотрел на водку; острая мысль все глубже, болезненно вонзалась в его голову: „Не дотронулся даже, решил, что с ядом, самодельная”.

В комнате никого не было и никто не был свидетелем, как изысканный „флор менажер”, „русский барон”, схватил с грубой злостью бутылку водки и стал пить ее, между глотками процеживая сквозь зубы:

— Дурака свалял, поверил, что свой родной; еще разлетелся, расшаркался. Ветеран великой войны! Участник ледяного похода! Николай Васильевич Лугин, он же барон с хлыстиком...

Лугин быстро хмелел, слабел и опускаясь на диван, продолжал бормотать: „Селяночки бы вместе поесть.., кашки московской,.. вспомнить Тверскую,.. Утеночек мой!..

РОДНОЕ

(Пародия на М. Зощенко)

В связи с визитом английской королевской четы в 1939 году, ньюйоркцы, не без удовлетворения, отметили тот факт, что пребывание короля и королевы в их городе прошло вполне благополучно. По крайней мере, в минуты торжественного проезда Их Величеств по улицам, не слышно было ни одного вольного замечания. И только один странный случай, все же происшедший в этот знаменательный день, пожалуй, так и остался для публики неизвестным, строго сохраняемый полицией в тайне.

Несчастье же было все в том, что в этой истории были замешаны двое русских, говорящих только на своем языке с крепким украинским акцентом, почему и отсидевших в отдельных камерах по серьезному подозрению. А что всему были виною не они, а теща . . . ну, поди объясни без языка ! .. Но лучше уж все по порядку:

От фабричного городка в штате Пеннсильвания до Нью-Йорка, казалось бы, недалеко, если принять во внимание, что у Федоренко с Грушко, по долгой дружбе, имелся общий и еще крепкий „ Фордяк " и выпала одна и та же неделя отпуска. Не удивительно, что у друзей совпало и желание съездить повидать происходившую в эти дни мировую выставку. На радостях даже согласились с женами своих тещ забрать. Одна маменька казалась еще ничего: когда то, откуда то свысока свалилась и с тех пор тихонькая стала, все ей ни по чем, лишь бы есть давали. А вот другая ! .. И места в машине боль-

ше всех заняла, и недовольство выражала: то ей не так и это... и зачем, вообще такую дрянь автомобиль выдумали, когда с лошадкой куды веселей... Ну, — объясняйся с такой отсталостью... Сколько лет в Америке, а толку насчет современной цивилизации никакого...

Когда докатили до чудесного города, мужчины от удивления и жары не почувствовали. А неспокойная теща, надо же, вдруг, как затянет:

— Эхх, кабы сейчас окрошку на хлебном квасе поесть!

Другая, хоть и слабоумненькая, услышав это, тоже заохала и заерзала. И ничего уже обе не видят и не желают видеть, пока окрошки не получат. Жены, тоже, известное дело, за своих маменек, стали на мужей коситься:

— Не слышите, что ли, олухи, чего маменьки хотят? — А словами ласково добавляют:

— Мы то свое дело знаем... в скверике на травке посидим. Все, чего полагается, накрошим... благо, посудину захватили... Вот только бы квасу достатать...

И чем ближе к роскошным достопримечательностям города, тем нестерпимее стоны:

— О-о-х, окрошки, да ледку на гривенник...

Видно, ничем не унять их. Сбросили мужчины на первой приличной лужайке дам и давай ходу — искать хлебного квасу. По запаху, что ли? Ведь насчет английского языка у друзей слабовато, да и особенной надобности в нем не было. Сколько лет и без этой трудности, не плохими мастерами на американском заводе считались. Поди и теперь обойдутся... А тут еще Грушко, кстати, вспомнил, что в кармане адрес лучшей бакалейной русской лавки имеет. Как спасительница среди ада мирского... сама „ Москва " ! Не опомнились друзья, как нашли родную лавченку, и холодные бутылочки с

квасом под сиденье в машину уставили. А на обратном пути у самих явилось приятное предвкушение еды.

„ В такую жарищу, и правда, оно будет кстати ! ” И только это подумали, как вдруг на первом углу, стой ! . .

Откуда то полиция взялась, будто жулика ловят. А один на мотоциклетке, с таким грозным видом, что куды там объясняться ! . . Пришлось сразу пятиться назад, в переулок, из машины вылезать. Да все равно от жары не высидеть внутри, как квас скиснешь ! А народу кругом собралось, всю улицу загородили.

— Мать честная ! . . кого же это такого-сякого ловят ? — испугался Грушко.

— Короля и королеву ! . . Вы откуда, из Сибири ? . . Не знаете, что сейчас Их Величества проезжать будут ? . . — раздался сердитый русский голос из туго сжатой толпы. Послышался смех. Совсем опешили друзья, переглянулись. — Никак все русские собрались ? . . Но сразу же столкнулись с красноречивым взглядом полицейского, „ нет, мол, не все, хоть и в этом районе, и извольте осадить назад, подальше от дороги. И так уж находитесь в подозрении за иностранный разговор ”.

От невольного страха бросило еще в пущий жар Федоренко и Грушко, не было возможности заступиться за себя, объяснить, что у них вообще никакого интереса к королям не имеется, и что окрошка сейчас важней . . .

Тут наступила страшная тишина, полиция сгустилась и слух прошел, что королевская чета, часа через три появится. Солнцепек же, как на зло, усилился. Федоренко взяла дурнота, он облокотился на руку друга и говорит:

— Давай ка, лучше, в машине посидим . . .

И только сделали они шаг к своему „ Форду ”, как оттуда, безошибочно раздался ряд выстрелов. Толпа шарахнулась, визг, свистки. Рванулась вперед полиция. А

у друзей точно земля под ногами раскрылась. Схватили друг друга, трясутся:

— Батюшки, да ведь это сволочь какая то за машину нашу спряталась, на жизнь короля и королевы покушаются ! ..

Когда схватили их обоих, долго не могли они понять своей вины и на выливающуюся шипящую жижу из своей машины смотрели с ужасом, от перепуга не догадываясь, что это их квас от жары взорвался. Долго не понимали и вопросов с направленным на них оружием:

— Кто такие ? Откуда ?

Первым опомнился Федоренко, как то выжал из себя:

— Из Москвы ... — чем и облегчил дальнейшие распросы. Взяли их обоих прямо в тюрьму. Там им пришлось просидеть долго, пока эксперты точно не выяснили химический состав взрывчатой жидкости из бутылок ...

А поди, объясни, что это ... для окрошки ! ..

ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА

Отъезд в Америку, о котором так долго мечтали Горяевы, был омрачен большим несчастьем: умерла няня.

Няня выростила Николая Андреевича Горяева, мать которого все время хворала. Когда он женился она продолжала жить у него и прошла с ним через все годы последовавших тяжелых испытаний.

Николай Андреевич овдовел, на войне был ранен и после большевицкого переворота очутился во Франции. Няня сопровождала его.

О своих чувствах к ней, Николай Андреевич никому не говорил, но она занимала какое то особенное, очень значительное место в его душе. И с годами он все более смиренно принимал ее неоспоримый авторитет.

Эти заветные чувства, как ни странно, перешли к новой семье Николая Андреевича: Ольге Владимировне, на которой он женился в Париже, и к их сыну Андрею.

Няня в свои шестьдесят семь лет, с появлением Андрюши, сама как то помолодела и как была когда то, полная сил, душевной теплоты и своего престижа в доме, заняла теперь место няни подле ребенка.

Во Франции жизнь Горяевых сложилась не плохо, но все же это были бездомные и трудные годы: Николай Андреевич служил в банке, Ольга Владимировна работала в модном магазине; оба возвращались домой поздно, когда Андрюша уже спал, утомленный прогулками и занятиями с няней.

Старушка рано засадила мальчика за первую книжку. Это был молитвенник с ликами святых и краткими житиями.

Книжечка была привезена няней из России: многие страницы были подклеены, пожелтели, от них шел странно-приятный запах ветхости и какой то таинственности. Андрюша любил эту книжечку, по которой еще его отец учил молитвы. Часто няня объясняла Андрюше то, что он читал, своими словами.

В семь лет Андрюша начал учиться русскому языку, но он был всегда рад, когда в комнату входила няня: маленькая, толстенькая и какая то важная с черной наколочкой на седых волосах. Она не носила очков и ее маленькие глаза всегда излучали какой то свет и тепло. Таких глаз, как у няни, Андрюша никогда, ни у кого больше не видел.

Своим спокойным и немного строгим голосом, она говорила:

— Теперь я позаймусь с Андрюшей, а ты, Николай Андреич иди отдыхай или погуляй с Ольгой Владимировной по бульвару.

Отец сейчас же вставал и как послушный мальчик, с улыбкой выходил из комнаты.

С няней было интереснее учиться. У нее никогда не было скучающего лица, какое Андрюша замечал у отца. Как часто он чувствовал, что отец думает о чем то другом и не слышит о чем он читает или спрашивает. А няня вся превращалась во внимание и слух. Андрюша для нее очень старательно читал и краснел от удовольствия, когда она бывало вдруг скажет:

— Хорошо читаешь Андрюшенька, повтори еще...

Однажды она вспомнила: „вот так у нас на селе один дякон читал, не споткнется"...

От няни Андрюша узнавал интересные сказки и басни. Новый мир, полный чудес открылся для него. Он полюбил косолапых мишек, смешных обезьянок, лисичек-сестричек, и полюбил мудрость человеческую, ко-

торую ему так же поясняла своими словами няня: о скупости, глупости, трусости...

А то не глядя в книгу, занятая вышиванием крестиками, она рассказывала ему о зверюшках, которых сама встречала в лесу.

Андрюша поступил во французскую школу, ему легко дался новый язык, но ближе и дороже оставался свой русский, который он продолжал учить с отцом и няней.

Когда он ходил с няней в русскую церковь, на обратном пути она обязательно заходила в маленький книжный магазин и там с русским хозяином долго отыскивала что нибудь интересное для него. Андрюша возвращался домой с новой книгой, сгорая от любопытства узнать, что в ней написано.

Скоро у него завелась своя библиотека. Он любил ее, как что то живое, самое ценное и неотъемлимое от няни. Он это особенно понял однажды:

Андрюша знал, что всюду началась страшная война с немцами. В его воображении эти „ немцы " были не люди и не животные, а какие то чудовища, сделанные из железа, без сердца и не знающие Бога. Так, собственно, ему объяснила няня. Многое он понимал и со слов отца, все чаще о чем то задумывавшегося во время уроков.

В один из этих дней, отец, вдруг, крепко прижал к себе Андрюшу и сказал, что он должен будет отвезти его далеко из Парижа, в деревню к знакомым французам-фермерам. Они с мамой будут его навещать и, даст Бог, скоро возьмут обратно в Париж и он опять пойдет в свою французскую школу.

Андрюша слушал отца в странной тревоге, не перебивая, но один вопрос, казалось самый важный в эти минуты, напрашивался мучительно. Он наконец выговорил:

— А няня ?

— Няня будет с тобой... ответил отец.

Андрюша почувствовал облегчение, обрадовался; спросил опять не менее важное:

— А мои русские книжки? молитвенник я возьму с собой?

— Конечно, — как то грустно улыбнулся ему отец и добавил:

— Я тебе скажу, что ты должен будешь учить...

Андрюша удивился и заметил:

— Но со мной ведь будет няня! Она мне все скажет...

Он посмотрел на отца и не сразу понял, что его папа плачет. Озадачила его мысль:

— „Ведь взрослые не плачут"...

Но слезы настоящие, крупные и необъяснимые текли по щекам Николая Андреевича. Как бы устыдившись их, он поспешно отослал Андрюшу в детскую. Андрюша раньше понесся к няне и объявил ей с взбудораженным сердцем:

— Няня, мы с тобой уезжаем далеко...

— Знаю, — отозвалась она невозмутимо.

Андрюша тут же посмеялся над собой: он хотел удивить няню, а она всегда знает все и прежде всех...

* * *

В деревне по ночам, Андрюша почему то просыпался, долго лежал с открытыми глазами. Часто за окном шуршал легкий весенний дожь, навевал грустные мысли: Андрюша знал, что он все еще находится далеко от дома и, что папа с мамой не приезжают потому, что они очень заняты и, что в Париже сейчас не хорошо...

Ему становилось страшно от какого то смутного предчувствия и только мысль о няне, которая спит за перегородкой, горячо помолившись за всех и благосло-

вив его, давала ему успокоение и выводила из грусти и тревоги.

Хозяева французы, у которых они жили, были пожилая пара, их постоянно навещали соседи, были свои молодые работники.

В столовой за едой всегда было шумно, ели сытно. Хозяйка сажала няню рядом с собой, зная, что она не говорит и не понимает по французски. А Андрюша, зажатый между парнями-рабочими, иногда что то улавливал в их быстрых словах.

Однажды в столовой их встретила странная тишина: молодые работники непривычными тихими, дрожащими голосами передавали хозяевам последние новости:

— Немцы бомбардировали Париж ... Правительство видимо пойдет на уступки, чтобы не разрушили города ... А они должны спешно уходить в партизанские отряды ... Они-то немцам ничего не уступят ...

Жизнь на красивой и богатой ферме быстро менялась: на столе уменьшалась еда, все как то притихло, будто для того, чтобы слышнее доходили в провинциальную глушь новости войны. Исчезала молодежь и на смену появлялись сгорбленные молчаливые старики. Они только не скрыли свои переживания, когда дошла весть о занятии немцами Парижа: по сухим морщинистым лицам французов текли крупные неудержимые слезы.

Андрюша это видел и теперь он знал и понимал глубже, отчего взрослые плачут ...

Няня забирала Андрюшу на далекие прогулки, захватив с собой книжки и тетрадки, усевшись где нибудь на опушке леса или у речки, она все чаще рассказывала ему о России: про войны, татарское иго, наполеоновское нашествие, про большевиков.

В ее словах были и радостные воспоминания: точно окружающее цветущее благополучие уносило от нее тьму нависшую над родиной и над всем миром. Вносило

непоколебимую веру в светлое будущее, как в вечное торжество Бога и честного труда на земле.

— А теперь за книжки пора взяться . . . перебивала она свои долгие повествования и добавляла угадывая скрытую тревогу мальчика:

— Скоро приедут папа и мама, а тебе и показать им нечего . . .

Андрюша брался за книги охотно. Учил наизусть стихи, не раз повторял любимое нянино стихотворение Пушкина: „ Птичка ”.

„ В чужбине свято соблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны ” . . .

Под его чтение, няня теперь часто засыпала, едва промолвив:

— Ох . . . не слышу уже Андрюшенька . . . устала я . . .

За все пребывание Андрюши и няни в деревне, только два письма пришло к ним из Парижа с денежными переводами для хозяев. Потом прошло несколько месяцев полной неизвестности, а к Рождеству, наконец, приехали в деревню Николай Андреевич и Ольга Владимировна.

Их приезд не только взволновал Андрюшу и няню, со всех сторон деревни сходились на ферму люди, чтобы послушать их.

Сидя до поздней ночи у стола, Николай Андреевич рассказывал французам, что пришлось ему увидеть и узнать за эти дни немецкой оккупации. И после каждого его рассказа в комнате наступало тяжелое молчание.

Ольга Владимировна не отходила от Андрюши и няни, засыпала возле них измученная переживаниями, а открывая глаза, смотрела на своего мальчика, окреп-

шего, похорошевшего и счастливая оборачивалась к няне, благодарила ее за все.

Николай Андреевич заметил другие перемены в сыне: в его характере, главное, какую то новую серьезность, несмотря на его девять лет. Он был также приятно удивлен успехами Андрюши в русском языке.

Прошло три с лишним года прежде чем семья Горяевых вернулась в Париж, освобожденный от немцев. Николай Андреевич вскоре выхлопотал через американцев разрешение на в'езд в Америку.

Няня испугалась предстоящего пути, хотя с интересом разглядывала американцев, приговаривала:

— Красивый ... рослый народ ... в Бога верят ...

Укладывая Андрюшины вещи говорила ему:

— В хорошей стране будешь ... а все же не забывай, что ты русский, в церковь то свою ходи, праздники почитай ... и услышишь звон ... звать он тебя будет на родину нашу ...

Умерла няня во сне. Андрюша смотрел на спящую вечным сном няню и ему казалось, что она вот, вот скажет:

„Ох ... не слышу уже Андрюшенька ... устала я ...”

Отсутствие няни, двенадцатилетний Андрюша ощутил глубоко и больно на пароходе. Долго не мог почувствовать интереса к путешествию. Ему стало немного легче и радостнее, когда он вспомнил, что с ним едут все книжки, которые она ему дарила. И с такой ясностью нахлынули на мальчика все нянины слова учения, как священные заветы.

Он подошел к отцу, сказал ему тихо с порывом и как бы по секрету:

— Папа ... в Америке я еще хочу учиться по русски, знать все про Россию, все чему няня меня не успела научить ...

— Будешь, будешь . . . отозвался Николай Андреевич и обняв сына с дрожью в голосе добавил:

— А ты знаешь Андрюшенька, что наша то няня дорогая, сама не умела ни читать, ни писать . . .

* * *

МУРОЧКА

Перед отъездом с мужем в Европу на летние месяцы, Людмила Ильинишна Золоторева ломала себе голову над вопросом: „ На кого ей оставить Мурочку ? " — рыженькую кошечку, пятилетие которой они совсем недавно справляли. Самое лучшее было бы взять ее с собой, хотя Людмила Ильинишна понимала все трудности предстоящих переездов, остановок в гостиницах и т.д. А Сергей Львович Золоторев мечтал о путешествии с женой безо всяких затруднений. Но и он не мог отнестись с полным безразличием, — что станет с Мурочкой ? . .

Кто-то посоветовал им отдать кошечку в специальное место, где за небольшую плату хорошо присматривают. Людмила Ильинишна ужаснулась — все равно, что отдать собственного ребенка в клетку за три доллара ! К тому же она знала, как вредно для кошечек менять обстановку, к которой они привыкают.

Кого только она не вспомнила из своих знакомых и друзей. Но когда нужна не только любезность, но и некоторая жертвенность, никого не найдешь. Положение становилось безвыходным. Прямо хоть отказывайся от Парижа и Рима ! . .

Вдруг, сверкнула надежда: Людмила Ильинишна познакомилась с одной милой русской учительницей, которая снимала комнату в какой-то шумной семье. А ей на лето предстояла серьезная работа над книгой. Что же может быть лучше их квартиры, да еще с балконом ! Пусть эта учительница живет и работает у них три месяца за одно одолжение — присматривать за Мурочкой.

Милая дама, Анна Аркадьевна Мухина, с радостью согласилась. Она обожала животных. А Мурочка при

первом знакомстве восхитила ее. Кошечка была удивительно умненькая, понимала по-русски каждое обращенное к ней слово. В день отъезда своих, несмотря на свой неутолимый аппетит, не прикоснулась к еде и определенно загрустила.

Людмила Ильинишна не выдержала и разрыдалась, покрывая поцелуями усатую рыжую мордочку. Сергей Львович отнесся более сдержанно к разлуке, хотя заметно поспешил из дому.

На прощанье Анна Аркадьевна прижимала к себе Мурочку, обещала любить ее, как свою.

Переживания Золоторевых, как и многих других, в кой-веки совершающих поездку из Америки в Европу, можно сравнить с чудесным сном, никаких забот ! Только гуляя в каком-нибудь живописном Европейском парке, Людмила Ильинишна вспоминала с грустью свою квартиру в Квинсе и, конечно, Мурочку. Она посылала отовсюду хорошенькие открытки Анне Аркадьевне, как бы желая задобрить теплым словом эту, все же мало знакомую, ей особу. А однажды в Париже среди ночи она до того забеспокоилась, что разбудила мужа словами:

— Ты думаешь, на эту учительницу можно вполне положиться ? Не показалась она тебе слишком черствой ? Ведь у нее никогда не было детей. —

Венская жизнь особенно пришлась по вкусу Золоторевым; они слушали много музыки, ходили в театры, восхищались парками . . .

Людмила Ильинишна даже выразила желание остаться навсегда в Вене, если бы только с ней была Мурочка . . .

Вдруг, в отель, из Америки на ее имя пришло письмо. Она с большим волнением открыла его и прочла:

„Дорогая мама. Что ты со мной сделала ? Если бы ты знала, какая я несчастная с этой теткой, которую ты мне подбросила. Она не дает мне

покоя. Не позволяет лежать на твоей постели, ловить мух на кружевных занавесках, запрещает точить ноготки о мое любимое бархатное кресло, и кормит меня только на кухне. Не жизнь, а мука ! .. Твоя несчастная Мурочка ".

У Людмилы Ильинишны помутилось в глазах, она вскрикнула:

— Сережа ! — бедная Мурочка . . . я так и знала . . .

Сергей Львович выхватил письмо и с первых же слов расхохотался, с беспокойством посмотрев на жену. Но и она уже смеялась до слез, догадавшись, не сразу однако, о шутке и кто написал письмо . . .

* * *

ОТДЫХ

В осенний чрезвычайно жаркий день в Нью Иорке, когда солнечные лучи, как-бы напоследок, щедро заливали улицы и немилосердно жарили горожан, Степан Андреевич Силков, одевшись по календарю, в теплый костюм, фетровую шляпу и, весь вспотевший, направлялся в ближайшую городскую больницу. Мужчина здорового сложения, он был совершенно подавлен странным раздражением глаз и носа, мучившего его второй месяц. На днях он узнал, что у него — сенная лихорадка, от которой лечат уколами.

Силков подходил к больнице и озабоченно припоминал английские слова, нужные ему для разговора с госпитальным персоналом, относительно бесплатного лечения. К нему невольно приходила и раздражающая мысль, что в Америке водятся какие-то неслыханные болезни: „ Ведь никакого сена он не нюхал здесь, даже не видел . . . а бывало дома, в России, и спал на нем, ел его и ничего подобного с ним не случалось " . . .

Степан Андреевич подымался на крыльцо больничного здания, как вдруг в открытом окне второго этажа, увидел своего старого знакомого, Ивана Даниловича Тишина. Тот сидел в кресле, в больничном халате, весь обложенный подушками и, видимо, наслаждался сияющим днем.

Силков не поверил своим глазам, настолько неожиданна была эта встреча в больнице и вдруг крикнул в окно:

— Иван Данилыч, вы ли это ?

Больной вздрогнул, увидел Силкова, узнал его и с улыбкой слабо замахал рукой.

Через несколько минут, Степан Андреевич, забыв о цели своего прихода, вошел в палату Тишина.

— Дорогой, да как это вас угораздило сюда? — спросил он, протянув Ивану Даниловичу руку, но сразу отдернул ее и схватился за носовой платок. К нему подступил очередной приступ чихания. И уже без слов, глазами полными слез от проклятой лихорадки, Силков тревожно всматривался в лицо больного. Иван Данилович продолжал улыбаться, видимо, очень обрадованный гостю, казался и смущенным, как бывает с людьми скромными, простыми.

— Да я уже на выздоравлении, Степан Андреевич... спину ушиб . . . — произнес он тихо и добавил: — Я ведь на отдыхе был . . . Хотел ли он сказать это с иронией, но улыбка не сходила с его лица.

— Как же, помню, вы неожиданно нашли в Америке своего товарища, и собирались к нему на ферму отдыхать. Где-то вблизи Покипси, — говорил Силков, держа платок у носа и присаживаясь на кончик стула. И пожалуй, уже не от сенной лихорадки, а от внезапного чувства жалости к Тишину, у него выступили слезы.

Иван Данилович никогда не отличался крепким здоровьем, и годы брали свое. Ему было за семьдесят. Но в нем всегда чувствовалась редкая бодрость духа, с его губ редко сходила улыбка. Казалось, что с этой улыбкой нес он свою одинокую старость на чужбине. А сейчас на его исхудавшем лице, если и была улыбка, то другая, с оттенком горечи и, скорее, кривила его добрые губы. Эта горечь послышалась в его голосе:

— Я и поехал к нему, Степан Андреевич. А вблизи какого города находится его ферма, ей Богу не знаю, потому что, за два месяца моего пребывания там, я ничего не видел, кроме нескольких десятин пустынной непаханной земли, сарая, курятника и одного жилого до-

мишки... — Улыбка опять поддернула кончик его рта, он продолжал:

— Наша эмигрантская жизнь, каких только сюрпризов не преподносила, Степан Андреевич, а все же, не ожидал я, что мой полковой товарищ Пантюхов, по святцам — Петр Александрийский, по батюшке Никанорович, женился здесь в Америке на ирландке, да еще под башмак к ней попал. Гляжу, у него, все дорогие ему фотографии, еще из России, в сарае висят, плесенью покрылись, гниют... Но не мне было ему свое мнение высказывать. Женаты они давно, сынка имеют, который в последнюю войну в американской армии служил, а теперь где-то плотничает. По приезде к Петру, я, вообще, дал волю своим душевным чувствам, поплакал даже. А там, на житье-бытье их не нарадуюсь. Все же обзавелись земелькой, домишком. Знаю, что это значит для русского человека. Конечно, по дружески совет даю Петру — беречь все. Мой глаз подметил некоторое запущение: пол в кухне подгнил, несколько балок съедены червячками, грибками, кто его знает, какой еще пакостью. Оказалось, они сами это знают. За время войны ничего сделать не могли, работника трудно было найти. А теперь, вот, послала судьба такого человека, как я. И не успел я опомниться, как Петр ведет меня в сарай, дает инструменты и говорит:

„— С тобой, Иван, мы все в два счета приведем в порядок". Я рад был ему помочь, что ж там... несколько балок подменить... Только ошибся я в расчете. На одного меня работа свалилась, и не одним кухонным полом закончилась. Ходит хозяйка-ирландка по дому и охает, что в доме дверей ей мало. Петр поддакивает: „Да-а, с твоей помощью, Иван, и дверь новую можно поставить!"

Мне отказывать неудобно, в гости ведь приехал. Берусь за дверь: работа пришлась не легкая, стена — тру-

ха, стремянка, на которой стою — старая, еле держится и пол под ней гуляет. За неделю, все же справился. Дверь на болты поставил и зову хозяев. Петр хвалит. Два раза вошел в дверь и вышел, а ирландка опять охает, жалуется, что моя дверь открывается всего на 80 градусов, а она хотела на 180. Петр своих слов не имеет, тоже заявляет: — "Это ты сплоховал, Иван, иначе нельзя, как на 180!.." Опять вошел в дверь и вышел. Я за ним, поясняю, что только так и можно, иначе кривая дверь получится. Он слушать не желает, а жена растопырила руки на 180 градусов и не двигается. Мне настаивать на своем совестно. На их харчах живу, хотя и еда, прости Господи, одни мосолышки... Иногда слабость одолевает, годы не те, ноги. Да ничего не поделаешь. Взялся снова за дверь, а тут жара хватила. Стоишь в одних трусах, мухам развлечение. Облепляют тебя, в нос, рот залетают. Хозяева просят меня, следующим делом обязательно сетки на окнах поставить, да за одно и на балконе. После пошли всякие мелкие плотничьи починки, которые уже без просьб указывают. А там слышу, говорят, что крыша сарая села, курятник сел, проволочная загородка продырявилась, и птица повсюду шляется. Не выдержал я, заикнулся насчет их сынка мне в помощники. Да куда там, он где то по 18 с полтиной в сутки получает, что же он дурак, у своих работать.

Однажды паренек приехал на своей машине, отца родного ни в грош не ставит. Ни одного русского слова не произнес, а с мамашей шушукался о чем-то, дом осматривал и мне инструкции дал, чтобы я не забыл повсюду щиты от „ворья" поставить. Естественно, прямой наследник, забеспокоился. Отцу на прощанье, какие-то указания давал, не новый ли дом строить?

На следующее утро, стою я на моей хилой стремянке, крышу заканчиваю, и вдруг, вижу, как мой Петр

Александрийский, тянет ко мне новую громадную доску. Ну, думаю, пропал я.

И вот... спасла меня стремянка.. .дрогнула, слетела вниз... и я с ней... Так и очутился здесь в больнице, Степан Андреевич, а теперь беспокоюсь, выписываться скоро придется, да не охота. Уж так хорошо отдохнуть здесь... так хорошо...

Иван Данилович с блаженным вздохом потянулся на подушках.

* * *

ФОКУСЫ

Обычно, когда Федор Трофимович Колечкин подымался по лестнице на шестой этаж своей квартиры, его почему то охватывали мысли о сыне, Кирилле. Темнота и трудная для подъема лестница, особенно в его годы, точно способствовала далеко нерадостным думам. Постоянный шум, крикливые голоса, какофония несущихся из квартир радио, детская беготня, не редкие драки на лестнице, ничто не отвлекало Федора Трофимовича от чего то важного и тревожного в его душе и мыслях. Иногда он останавливался на одной из площадок, перевести дух, и вдруг, у него вырывалось сдержанно-желчно:
— Фокусы ! —

Это обращалось по адресу окружающих квартир, в этом старом ньюиоркском доме, густо заселенном порториканцами. К ним Колечкин питал большую неприязнь и, хотя его сын не раз объяснял ему, что порториканцы такие же полноправные американцы, принадлежащие к белой расе, он упорно называл их всех: „дикарями, черномазыми жуликами" и считал главными виновниками регулярных краж в их квартире.

Слово „Фокусы" вырывалось у Феодора Трофимовича и в других случаях; было как-бы его любимым выражением. Слышалось оно и в минуты его горьких переживаний, как например, однажды, когда его миловидная супруга, еще в беженскую пору сбежала с иностранным офицериком, оставив ему прощальную записку и четырехлетнего сынка, только и мог Феодор Трофимович выжать из себя: — „Фокусы" . . .

Возвращаясь домой с базара Феодор Трофимович никогда не знал, застанет ли он дома своего Кирилла.

Если у сына была служба, Феодор Трофимович не помнил его служебных часов, а если сын находился без работы, что случалось чаще, то он уходил в любое время и на неизвестный срок, обивая пороги театральных контор, где предлагал свой „ Акт " акробатических танцев, который Феодор Трофимович тоже называл: „ Фокусы " . . .

В лучшие времена он дал сыну возможность изучить разные виды американского спорта. Надеялся, что его Кирилл станет профессиональным спортсменом. Но юноша предпочел для себя артистическую карьеру.

Сначала он увлекался классическим балетом, а потом перешел на акробатические танцы. Под конец он создал свой собственный акт с партнершей. Выступал в различных театрах, ресторанах и в цирках.

Последнее время Кириллу не везло со службой. Он ничего не говорил отцу, но Феодор Трофимович все знал и страдал за неудачи сына. Он всячески старался экономить по хозяйству, что делала бы каждая любящая мать для своего сына. Но в любви к сыну, Феодор Трофимович, пожалуй, не уступил бы любой матери. Он любил Кирилла до самозабвения. Благодарил Бога, что несмотря ни на какие трудности, их жизнь вдвоем сложилась тесно и дружно.

Как часто, подойдя к своей двери, Феодор Трофимович с радостью думал, застать Кирилла дома.

Однажды его ждало совершенно небывалое явление: в их тесной квартирке оказалась какая-то молодая особа. Феодор Трофимович до того оторопел, что забыв всяческие приличия, с быстротой мыши, юркнул мимо гостьи в кухню. А там встревоженно-вопросительно посмотрел на вошедшего за ним сына. Кирилл казался на редкость оживлен, его щеки и глаза горели.

— Папа, выйдите, познакомьтесь, у нас в гостях

моя новая партнерша... начал он, и как-то запнулся под взглядом отца.

— Видите, папа, заговорил он опять, — в моей работе, всегда появлялись трудности из-за партнерш, почему я терял службу. Нет возможности иметь одну и ту же постоянно. Если она девица, то ее мамаша мешает советами и против обращения с ее дочкой. А если партнерша замужняя, то мужья вмешиваются, „это, мол, моя жена, ты не очень ее перекручивай" . . .

Вот я и решил, папа, жениться... Эта девушка очень хорошая танцовщица и акробатка с Кубы, вроде, как испанка... меня любит и согласна иметь со мной постоянный акт . . .

Феодор Трофимович, как оглушенный, шлепнулся на стул. Вся кухня завертелась перед ним, сознание помутилось от испуга:

„Что если Кирилл в самом деле женится ?... А ему куда деваться ?.. Третья кровать к ним никак не влезет, только полторы вмещается; одна узенькая для Кирилла, да его собственная — складная, которую и открыть всю нельзя из-за тесноты; так что по ночам, его ноги свисают, как у инвалида. Но привычка — великая вещь... А может быть ему перебраться в кухню, и за одно — отравиться газом ?"

Какие только мысли не приходили в встревоженную голову. Но все же, Феодор Трофимович что-то ухватывал резонное в словах сына:

— С ней мне будет легче найти работу, папа. Да идите же, показывайтесь. Я ей говорил о вас, — с некоторым нетерпением сказал Кирилл и добавил веселей:

— Ее имя — Кармен-Мария-Катерина де Гарсия, де ля Торесс. —

— Феодор Трофимович откинулся назад от удивления.

— Да разве там их несколько сидят, невест-то ? . . . — Кирилл рассмеялся.

— Нет, папа, только одна. Это у них принято иметь несколько имен, я ее называю просто — Кармен. Идите же, папа . . . —

— Постой, постой, Кирюша, — опять отпрянул назад Феодор Трофимович, — ведь брак, все таки, дело серьезное, для акта или нет . . . Ты говоришь она — испанка, значит католичка, вера у вас будет разная, а если дети ? . . .

Кирилл не слушал отца. Он почти вынес его из кухни. Феодор Трофимович так и не снял своего пальто, руки его тряслись, он плохо что соображал, но все же разглядел маленькую особу с острым личиком из под массы черных волос, у него чуть не сорвалось:

— „ Фокусы " !

Однако словечко странно застыло на губах. Он видел счастливое лицо сына, опять старался что-то уяснить себе и, наконец, произнес тихим дрожащим голосом:

— Что-же . . . женись, Кирюша, даю тебе свое отцовское благословение . . . —

— Спасибо, папа, мы уже женаты, — ответил Кирилл и помог отцу снять пальто. Феодор Трофимович, как подкошенный, свалился на кровать. Объяснение с сыном произошло позднее, когда Кармен-Мария-Катерина де Гарсия де ля Торесс, ушла. Кирилл рассказал, что им нужно было обвенчаться срочно, так как Кармен должна уезжать на Кубу. У нее только студенческая виза, и она не имеет права дольше оставаться в Америке. Но теперь он выпишет ее обратно, как свою жену, и тогда они начнут свой акт.

Кирилл также успокоил отца, что ему никуда не придется переезжать. Кармен сейчас живет со своими

друзьями, а когда она вернется с Кубы, они будут достаточно зарабатывать, чтобы иметь большую квартиру.

Через несколько дней Кармен, действительно, как обещала, уехала в свою страну. Затем от нее пришло письмо с просьбой прислать ей немедленно 500 долларов на обратную дорогу. Феодор Трофимович хотел было предупредить сына, что мол, осторожно, „фокусы" начинаются, но опять сдержался и даже помог сыну достать деньги. Кое у кого заняли, кое что продали из того, что соседи еще не унесли . . .

Вскоре Кирилл радостно объявил отцу, что его жена вернулась на самолете. Феодор Трофимович почувствовал некоторое угрызение совести за свое недоверие к невестке, и решил предложить сыну куда-нибудь переехать самому, чтобы не мешать их молодому счастью, до лучших времен . . .

С такими мыслями он поднимался на свой шестой этаж. Но не успел он добраться до площадки, как дверь их квартиры распахнулась, оттуда выскочила Кармен, за ней показался Кирилл. При виде отца он остановился, а она, выкрикивая мужу что-то по-испански, и плюнув в его сторону, рванулась вниз по лестнице.

Кирилл не двинулся с места. Волосы его были в беспорядке, всклокочены, не то им самим, не то взбешенной кубинкой. Наконец, как-бы очнувшись, он проговорил:

— Я развожусь с ней, папа . . . Она отказалась работать со мной. У нее другие планы для себя . . . Брак со мной ей был нужен только для постоянной визы в Америку . . . Я решился на развод и возьму вину на себя, иначе ее навсегда загонят в Кубу. А тогда она клянется нас с вами отравить, и сама утопиться . . .

Феодор Трофимович кивал головой, с какой-то внезапной радостью соображая: „Что бы еще продать из

своего барахлишка для предстоящих расходов по разводу" ?...

И, взглянув на сына, хотел было произнести давно напрашивающееся словечко, да Кирилл опередил его:

— Фокусы, папаша, вот и все... —

* * *

УСЛУГА

Старуха Никулина пришла к Татьяне Макаровне неожиданно. Молодая женщина заканчивала утреннюю уборку своей комнаты. Она даже испугалась, увидев в дверях толстую, грузную фигуру. Не узнала ее.

— Матушка, Татьянушка, уж ты прости меня, старуху, что я к тебе так рано, да не звано ! – заговорила Никулина, порываясь вперед. Она была странно возбуждена и издавала какое-то непонятное позвякивание при каждом шаге.

— Да я вас не узнала, располнели вы очень ! — сказала Татьяна Макаровна.

Гостья остановилась посредине комнаты, тяжело перевела дыханье, и, посмотрев маленькими глазками на хозяйку, произнесла с тонким выкриком:

— Кхи, располнеешь тут. С квартиры опять гонят. К двум часам дня приказано нам с Мишкой убираться на улицу. Что в Америке, что бывало в Константинополе, правило одно, не платишь — вон ! И вещи, конечно, оставляют под залог . . . Старуха вздохнула и продолжала понизив голос:

— Так вот, я к тебе пришла, голубушка, как начиненный индюк, кое — какие вещицы под собой принесла, спасти . . . очень уж дороги по памяти . . .

Татьяну Макаровну тронула невольная жалость; когда то судьба свела ее с Никулиной, жили в одной квартире. Знала она о не сладкой доле старухи с ее сыном — пьяницей. И вот, теперь такое несчастье !

— Сядьте-ж, милая, небось тяжело вам . . . засуетилась она. Никулина замахала руками.

— Нет, нет, родная, я и в трамвае сесть не могла. У

меня спрятан сервиз из восьми чашек и зеркало в роговой оправе. А ложки серебряные и сказать совестно где привесила. Если разрешишь, то я все это оставлю у тебя на день, другой . . .

Не дожидаясь ответа, старуха стала вынимать из себя, отовсюду, сверточки всяких размеров. Отшпиливала большие булавки, даже в ботинках у нее оказались пакетики, обмотанные в тряпки, в газетную бумагу. Все это, как то сразу наполнило скромную, чистенькую комнату Татьяны Макаровны, внесло тревогу в ее отзывчивую душу. Она торопливо очистила один из ящиков комода. Слезы слышались в ее мягком голосе:

— Положите вот все сюда . . . Ах, бедная, вы моя ! —

Когда почти все было аккуратно разложено в ящике и зеркало в роговой оправе лежало сверху, Никулина с трудом достала из под юбки серебряные ложки, (они то и звякали у нее) и, в каком то раздумьи протянув их Татьяне Макаровне, сказала:

— Эти пять ложек еще питерские, в закладе за них дают тридцать пять рублей, а я их тебе оставлю за двадцать. Переехать-то нам, голубушка, нужно ? а на какие ? Мишке службу обещали на этой неделе, так я с первой же получки выкуплю у тебя . . . — Голос старухи дрожал. Она протянула связанные бичевкой ложки, погнутые, почерневшие и зацветшие по краям.

— Что вы, не нужно, я и без них . . . — сорвалось с губ Татьяны Макаровны. Где-то, в глубине ее сознания, пронеслось, что она не должна, не может этого сделать. У нее всего было скоплено двадцать долларов для больного зуба, давно нужно было сходить к доктору. Но сейчас зуб молчал, а горе Никулиной раскрылось раной. Вспоминался ее сын, бездельник не жалеющий матери. Старуха его обожала, всегда защищала и старалась уверить всех, „ что если-бы Мишеньке повезло, он бы в люди вышел ”. Мишеньке было уже за пятьдесят . . .

Но сейчас Никулина и сына не щадила, жаловалась слезно:

— Три дня домой не возвращался... оказалось, под лестницей спал, до комнаты не дополз, все пропил. Я ему говорю: „Стыдись, Мишенька, нас с квартиры гонят". А он свое, „не впервые, мамаша, привыкать пора, мы беженцы"... Это мне то, в восемьдесят пять лет!.. Все же одумался, негодник, обещал работать...

Вскоре Никулина уходила с просиявшим лицом и двадцатью долларами в сумке. Благодарила, благословляла Татьяну Макаровну.

— Храни тебя Бог, всегда говорила, золотая у тебя душа! —

Остаток этого дня как то расклеился у Татьяны Макаровны. Она даже не пошла на вечеринку к друзьям. Беспокоила мысль о вещах старушки в комоде. За свои так не волновалась. Два дня просидела дома, пропустив службу на фабрике. Очень обрадовалась, когда старуха, наконец, появилась.

— Переехали? — первое, что спросила у нее Татьяна Макаровна.

— Переехали... перехали, голубка моя... — быстро ответила Никулина, и шла, точно напролом, прямо в комнату, к комоду. Она стала поспешно укладывать свои вещи в принесенную веревочную котомку. Звякнули опять серебряные ложки, стукнуло ценное зеркало. Казалось, все взяла, но продолжала руками шарить в ящике. Обернулась к Татьяне Макаровне, спросила с испугом:

— А где же мой пакетик с розовой ленточкой? — Татьяна Макаровна посмотрела в пустой ящик, пожала плечами.

— Вы все взяли, милая. —

— Да ты что из меня дуру делаешь! говорю с розовой ленточкой!... неожиданно, резко выкрикнула Никулина.

Татьяна Макаровна обомлела.

— У меня ничего не могло пропасть, может быть вы его потеряли? — сказала она слабо. Старуха налилась гневом.

— Я ничего не теряю. Все было приколото булавками, а это у меня был самый ценный, запонки с рубинчиками... Старуха, вдруг заголосила:

— Что я теперь скажу Мишеньке, от отца ему память единственная... тридцать пять рублей мне за них давали, могли месяц прожить...

Уходила Никулина со своим мешком, ругая Татьяну Макаровну на чем свет стоит.

— Вот понадеялась на кого!

— Может быть я их еще найду... занесу вам... где вы теперь живете; — призывно, взволнованно говорила вслед старухе Татьяна Макаровна.

— Никулина замялась, неразборчиво зашамкала:

— Да живем то там... вблизи... недалеко от того-же.. .И поспешила к лестнице. Снизу донесся ее резкий крик:

— Помни же голубушка, за тобой теперь, долг нам, в пятнадцать рублей!!...

У Татьяны Макаровны не было сил закрыть двери, она стояла растерянная, и точно в самом деле виноватая. Больной зуб ныл, как никогда.

* * *

РОДНАЯ ПОМОЩЬ

В непривычном волнении и горячих хлопотах прошел весь день и вечер у Марьи Демьяновны. Больно разволновалась ее старенькая душенка от слов соседки. Пришла та к ней с газетами, со слезами стала рассказывать про все невзгоды на родной земле, о людской нужде, и просить о пожертвовании ношеных вещей

— Там теперь каждая тряпочка, лоскуток в цене. Ведь немец окаянный до гола всех раздел, — говорила она.

— А зачем от Бога отступили ? Вот и впустили нечистую силу, — буркнула Марья Демьяновна, и поперхнулась. В наказание, что-ли, за свою мудрость, ведь сколько раз ее самое мучили мысли о бедствиях на родине, и о своем бессилии помочь чем либо. И вот, наконец, послал ей Бог — советчицу.

— Что и говорить, матушка, своя рубашка на теле тяжела стала, — теплее говорила Марья Демьяновна, и обещала свою помощь.

Только она любила во всем аккуратность. С уходом соседки сразу взялась за работу: каждую отобранную вещицу осмотрела, что нужно постирала, выгладила и все дырочки заштопала, да еще над каждой думала молитвенно:

„Донеси-то вас, Милостивый, до родной земли" . . .

С радостью старушка отметила, что вещей у нее набралось не мало. Обросла она вещами в Америке, из за вещей не могла с замужней дочкой в Калифорнию уехать. Так и осталась одна одиношенка. Да видно чуяло ее сердце для какой великой помощи все пригодится.

Закончила свою укладку поздно, Марья Демьяновна, а когда легла спать, долго не могла уснуть. Стали в памяти выплывать далекие родные края, своя хата, баня деревенская. А в коротком забытьи показались ей мужики, бабы, низко ей кланялись, благодарили, особенно за ватную кофту, что она еще в прошлом году в подарок получила и ни разу не надела.

В предутреннем свете глаза Марьи Демьяновны сразу нашли ее готовый узел с вещами, и гордое, сладкое чувство наполнило ее сердце; узел получился большой, докатился-бы только до Киева ...

С этими мыслями она быстро встала и стала поджидать соседку. Та обещала притти к ней спозаранку, помочь доставить вещи по назначению. Но соседка не показалась. Марья Демьяновна посидела на узле, уверилась в его крепости, и решила сама справиться с задачей. Адрес у нее был.

Теплое солнечное утро подбодрило старушку. Схватила она узел, и так до самой трамвайной линии его докатила, приговаривая весело:

„Докачу, докачу, коли захочу" ...

На трамвайной остановке ей пришлось ждать долго. Переполненные вагоны точно удирали от старушки с ее багажом. Кто-то из посторонних указал ей на подземную дорогу, советовал воспользоваться ею. Но Марья Демьяновна с места не трогалась. Боялась она подземок, всегда казалось ей, что не вылезет она из них на свет Божий, и терпеливо ждала трамвая. Дождалась и на этот раз. Добрые люди помогли ей взобраться в вагон, и узел подтолкнули.

Да не долго продолжался такой уют. Старушке пришлось два раза в другие трамваи пересаживаться, пока попала она, наконец, на правильную дорогу.

С усталым, но счастливым лицом, Марья Демьяновна очутилась у нужных ей дверей. На ее робкий стук, дверь

сразу открылась, и показалась дама. Она быстрым взглядом окинула старушечью фигурку, ее узел, отрицательно замахала головой, сказала по русски:

— Это не сюда, бабушка, здесь контора, а вещи принимают в клубе, — и она захлопнула дверь.

Марья Демьяновна осталась в полном смущении и с какой-то обидой, у нее вырвалось растерянно, перед закрытой дверью:

— А клуб-то какой, где ? . . . —

— Клуб недалеко, третий угол отсюда, называется: „Общественная жизнь". — послышался сзади мужской русский голос.

Старушка встрепенулась.

— Ах, голубчик мой, спасибо тебе, аль снесешь туда ? Это я для Россиюшки собрала, помоги, родимый ! — радостно заговорила Марья Демьяновна в сторону человека, но он, не услышал ее мольбы, унесся вниз по лестнице.

Старушка опять осталась одна в тишине и неизвестности. Медлить было нельзя, да и бодрость ее не покидала. Она стала спускаться по лестнице, узел подпрыгивал за нею.

Однако клуб, „Общественная Жизнь" остался для Марьи Демьяновны загадкой, не нашла она его, хоть и отсчитала три угла, да наверно не в ту сторону. Вдруг ее глаза увидели дом с вывеской на украинском языке, и радость прилила к ее сердцу. Решила она, что сама судьба привела ее к более надежному месту. Подтолкнула она к дверям узел и постучала крепко, будто в родной дом. Долго из него никто не отзывался, а когда дверь приоткрылась, выглянуло мужское лицо, заспанное, хмурое, голос прозвучал лениво:

— Чого ? —

— Да вот для родины вещи принесла, — живо заго-

ворила Марья Демьяновна. Глаза заспанного человека не выразили никакого интереса, он проворчал угрюмо:

— Мы, самостийники, до москалей чорта лысого не посылаем, нычого ни робим, — с этими словами он со всей силой захлопнул дверь.

Марья Демьяновна поплелась к трамваю. В ногах ее появилась слабость, узел казался тяжелее. Последней надеждой вспомнилась ей церковь, своя, русская „Уж там-то наверно позаботятся!"...

Добраться до храма было не легкой задачей, но какое то новое чувство обиды разбирало ее всю, вызывало упорство. Сошел со старушки ее утренний счастливый вид, она была похожа на бедную странницу, когда стучалась в закрытую дверь церкви. На ее зов наконец вышел церковный служащий. Она стала ему плакаться, просить его поставить вещи в церкви.

— Это для родины, все теплое, добротное, ведь Россиюшку одеть нужно... — говорила она.

— Да не твоими тряпицами, бабуля, как я слыхал, там только новые вещи принимают... —

От этих слов краска выступила на щеках старушки, ее голос зазвенел, затрясся:

— Ишь, значит не даром слух идет, что там за старое взялись! Погоны одели, а теперь бархата хотят! Новые вещи принимают, вишь!... Да и я не откажусь от новых!...

Служащий продолжил:

— А то, бабуся, отнеси в приходской дом, туда инвалиды приходят, заберут. —

— Да как — же инвалиды... чай они без рук, без ног? — взмолилась она.

— Это уж их дело, а в церковь нельзя, — он добавил, отпихивая ногой узел.

— Забирай, забирай!

Марья Демьяновна уж и сама не знала, как она

доплелась до своей улицы. Там, знакомый квартирант из дому подоспел, помог ей взобраться обратно к себе. Он узнал о ее мытарствах и укоризненно говорил:

— Зачем же ты, бабушка, сама таскала вещи, позвонила — бы в контору „Помощи России", они присылают машину. —

Последними усилиями, старушка добралась до телефона, добилась конторы, сказала о своем узле. Женский голос кратко ответил:

— Мне кажется, вещей у вас маловато. Нужно набрать не меньше двухсот фунтов, иначе нам нет смысла машину посылать, газолин тратить . . . —

Марья Демьяновна не дослушала, она как то тихо свалилась с ног на свой потрепанный узел. Словно оба теперь молили о пощаде, об отдыхе.

* * *

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Если говорить о счастьи, которое может внезапно озарить человеческую жизнь, то такое счастье снизошло в дом скромных русских ньюиоркцев, супругов Чижовых. Они нашли себе домашнюю прислугу.

Ольга Васильевна Чижова, давно оставила подобную мечту, пожалуй несуразную в демократической стране, где каждая барыня — прислуга, а каждая прислуга — барыня. Ее попытки нарушить такой порядок и взять какую нибудь нуждающуюся русскую особу, принесли только горькие разочарования. К ней нанимались дамы с грустными, красивыми лицами, и вместо работы они предавались на кухне воспоминаниям дорогого прошлого, часто со слезами.

Ольга Васильевна слушала их, также начиная всхлипывать, особенно когда дама показывала свой фамильный альбом с наличием былой роскоши: своих дорогих вещей, собственного дома, прислуги. За этими драматическими сценами, заставал жену и даму — помощницу Петр Петрович Чижов, вернувшись с работы. Он терялся, не зная за что ему хвататься, за голову или за груды немытой с утра посуды.

— Мадам знала всех министров в Питере, мусик ! . . . — говорила Ольга Васильевна, вытирая слезы.

„ Мусику " хотелось ответить, что он их тоже знал, но что то мешало ему и, сняв пиджак, он начинал мыть посуду.

— Ах, у нас было столько своей прислуги, мужской и женской ! . . — доносился до Петра Петровича трагический голос дамы. Он продолжал перемывать тарелки,

и на его лице появлялась странная печаль. Его также охватывали воспоминания о чудесном прошлом в родном доме, когда какая нибудь проворная краснощекая Нютка или Дунька выносили на своих плечах всю хозяйскую работу, не говоря — об озорных приставаниях его и братьев — гимназистов. И все это — за три целковых в месяц.

— Эх, дорогие наши Нютки, Дуньки и Марфушки, не ценили мы вас ! .. — При этих мыслях у Петра Петровича также навертывались слезы. Так вся кухня и плакала...

Но вот, произошло, небывалое: в квартиру Чижовых, без всяких объявлений, явилась моложавая женщина, предлагая себя в прислуги.

— Умею готовить, шить, стирать, — говорила она по русски, скороговоркой, словно боялась, что ей откажут. Но ей не дали договорить. Ее обнимали, целовали, своей называли и обещали жалованье вперед.

Самое замечательное в пришедшей было то, что она была похожа на прислугу: голова повязана платком, круглолицая с милой рябью на щеках, с доброй улыбкой и звали ее чудесно — Аграфена.

— Откуда же ты, Грушенька, — ласково расспрашивала ее Ольга Васильевна. Аграфена, видимо по скромности, о себе не распространялась, сказала только, что она — человек свободный, никого в городе не знает, и даже дня выходного ей не нужно.

Как можно было отнестись к этим словам, как не к чуду ? Чижовы Грушеньку не выпустили и с каждым днем они убеждались, что она доказывала правоту своих слов, обещаний. Работала она с лихорадочной энергией, боясь не угодить, а за скромное вознаграждение благодарила горячо.

Ольга Васильевна больше ни о чем Грушеньку не спрашивала, слишком ценный попался ей человек. Вся

ее жизнь стала из за Грушеньки другой, интересной, содержательной. Она могла надолго уходить из дому, навещать друзей. А в доме было чисто, обед готов и ничего не пропадало.

Новым комфортом наслаждался и Петр Петрович. Хвалился жене, что носки его были заштопаны чудесной рукой Грушеньки.

— Ты бы ее за это в кино сводил, позабавил, — однажды дала совет мужу Ольга Васильевна. Петру Петровичу эта мысль улыбнулась, в тот же вечер он повел Грушеньку в ближайшее кино-театр. Смотря на широко улыбающееся лицо Грушеньки, можно было догадаться, как она была счастлива в этот вечер. Вернулась она из театра еще более улыбающейся, а Петр Петрович имел странный, хмурый вид. Ольга Васильевна заметила это.

— Мусик, что с тобой ? ты недоволен чем то, плохая картина ?...

— Да нет, я вот о Грушеньке... произнес он с каким то беспокойством. — Ведь я пригласил ее с собой, как равную, сидел рядом, угощал шеколадом, а она точно ничего не замечала... все ее беспокоила мысль о доме, о тебе. Во время драмы, момент был страшный, я к ней приблизился, взял за руку, а она, говорит: „ скорей бы кончилась картина, я кажется мусор оставила в ведре ” ... Мне даже обидно стало... не знал я таких особ... —

— И я таких не знала... — протянула Ольга Васильевна и добавила:

— Знаешь, мусик, с такой женщиной, как Грушенька, я пожалуй могу тебя оставить и поехать погостить к маме в Калифорнию. Сколько лет собираюсь... —

Петр Петрович ничего не ответил, смотрел растерянно на сияющую супругу.

Увы, лучезарным надеждам Ольги Васильевны не

суждено было сбыться. На следующее утро она с мужем были разбужены громким звонком в дверь.

— Кто это ? — оба сонные, испуганные, они бросились в переднюю. На пороге двери стояли два человека в белых пиджаках. Один из них спросил по английски, строго:

— У вас находится русская женщина лет тридцати ?

— Нет, — с инстинктивным испугом ответила Ольга Васильевна. Вдруг за ее спиной послышался крик. Это была Грушенька вышедшая из кухни. Она увидела пришедших и бросилась обратно.

—Она и есть ! — сказал пришедший и добавил: — эта особа бежала из больницы, психиатрического отделения . . . —

— Нет, она . . . тихая, идеальная женщина, — почти застонала Ольга Васильевна.

— Ваше счастье, сударыня, у нее бывают опасные припадки. — С этими словами больничные служащие вошли в квартиру, у одного в руках была смирительная рубаха.

Грушенька от них долго пряталась, потом отбивалась, а когда ее связанную выносили, по всей лестнице разносились ее безумные крики:

— Пироги буду печь ! полы мыть ! . . . все белье чинить ! ! !

Чижовы безутешно рыдали.

* * *

ИСКУССТВО И АППЕТИТЫ

В одной из школ Нью-Иорка с благотворительной целью устраивался русский вечер с концертной программой и танцами. Приглашались артисты. Дамы устроительницы планировали большой буфет со всевозможными закусками и пирожками.

Тенор Гаврилов, узнав о пирожках, немедленно дал согласие выступить на вечере. Его жена также предложила свои услуги — спеть с ним дуэт и сразу справилась :

— А кроме пирожков, что будет ? Заливные ? Торты ?. . .

— Все . . . все будет, только пойте ! — отвечали возбужденные голоса. Два танцора, братья Залихватские, узнав о шикарном буфете, с удовольствием приняли приглашение — дать свой номер и, кстати, осведомились:

— Будут ли напитки ?

— Только чай с лимоном, — отвечали те же возбужденные голоса. Танцоры своего обещания обратно не взяли. Так как их верный друг — Томишкин, постоянно сопровождавший их на выступления, приносил с собой „ крепенького " . . .

Билеты продавались успешно: в знаменательный вечер зал был переполнен. Концертная программа запоздала, и публика преждевременно аттаковала буфет. Чашки чаю с лимоном и без него выхватывались из дрожащих рук заботливых дам, аршинами тянулись талоны с обозначенными на них ценами.

Пение четы Гавриловых проходило под звон посуды. Певцы бросали свирепые взгляды на буфетные столы,

замечая, как быстро на них исчезают деликатессы, ускоряли темп дуэта и на „ бис ” не показались.

Братья Залихватские после своих танцев, жадно набросились на напитки. На их столике, кроме обещанных чашек чаю, появились картонные стопочки, которые опорожнялись охотнее и быстрее. На многих столиках заблестели стаканы, наполненные кристальной жидкостью или с лимонной приправой. Появлялись бутылки с содой и почему то прятались. Со звуками оркестра начались танцы. Молодежь танцевала с увлечением, словно старалась наверстать где то уже, не мало, потерянных годов своей молодости. Не теряли времени с флиртом. За комплиментами в карман не лезли. Дамы краснели, млели и хихикали.

Старшее поколение ни в чем не уступало молодежи. Эта публика, большей частью из старой эмиграции находилась в полном упоении происходящим, и им было что вспомнить из прошлого: переносились к первой мировой войне, говорили о незабываемых наступлениях, победах, и роковых потерях ...

Один седовласый гость даже прослезился со словами:

— Не знаю ... не знаю ... господа, я дрался как лев ! ...

За этим столиком флирт был также в полном ходу. Проходил более изысканно. Стакан с кристальной водицей поднимался с припевом к соседке:

— Очи черные ... очи жгучие ...

Одна дама, однако, обидчиво заметила:

— Петр Иванович, как вам не стыдно прижиматься ко мне вашей деревянной ногой ...

— Что поделаешь, голубушка, своей давно нет ! ... ответил он молодцевато.

Другой тонный старичек, с помутившимся взглядом шептал своей даме:

— Дорогая . . . едем . . .

— Куда ? . . . удивилась она и добавила с раздражением:

— Вы сюда меня еле довезли ! . . .

Конферансье призывал публику к тишине, объявлял о второй части программы. Надрывался голосом в сторону буфета:

— Господа ! . . . Христа ради . . . оторвитесь от еды. Занимайте свои места ! Сейчас перед вами выступит известный поэт ! . . .

Публика неохотно внимала этому воплю. Дамы устроительницы набросились на конферансье:

— Что вы делаете с нами Иван Иванович ! . . . Масса закусок осталось ! когда мы успеем все это распродать ? . . . Итак, пирожки пошли по полцены ! . . .

С другой стороны на Ивана Ивановича обрушился поэт:

— Где обещанная тишина ? . . . Где концертные стулья ? . . .

Все же поэт, геройски, как на эшафот, поднялся на сцену. Его стихи заглушались усилившимся шумом в зале. Послышались звонкие тосты, раздалась вдруг звонкая оплеуха. Оказалось, что Томишкин хотел было показать друзьям свой трюк: как он умел незаметно вытащить стул из под соседа. Трюк не удался и Томишкин получил по заслугам от того же соседа. Начался скандал.

— Черт знает, что такое ! . . . — гремел чей то голос. — Ничего не пьют, кроме чая, а ведут себя, как в кабаке !

Крики и ругань покрылись звуками традиционной мазурки. Теперь, во всем блеске, показала себя старая гвардия. Молодежь отступила. Пары понеслись вперед.

— Легче . . . легче . . . рысцой ! . . . — подгонял свою даму, грациозно подбоченившийся кавалер.

— Не могу . . . ой, не могу . . . больше . . . — застонал женский голос в другой паре. Началось нечто вроде состязания. После первого круга пары стали убавляться. Осталась одна.

— Не бойтесь ! . . . я держу вас крепко ! . . . — восклицал первоклассный танцор, унося свою даму к центру зала. Там, в последней эффектной фигуре, он упал перед ней на колени, но подняться не мог. Понадобилась посторонняя помощь.

— Позор . . . позор . . . я никогда вам этого не прощу ! . . . чуть не плакала оскробленная дама, гордо и плавно оставляя бальную арену.

В последнем танце „ Твист " завертелась вся молодежь. Конферансье, он же распорядитель танцев, тот же Иван Иванович, принимал благодарность со всех сторон за чудесный вечер.

Только одна из буфетных дам налетела на него с жалобой:

— Из-за вашей поэзии, весь холодец растаял ! . . .

* * *

НОВЫЕ ЛЮДИ

Все новые беженцы прибывают к берегам Америки; новые русские люди. С ними происходят интересные встречи, порой — курьезы. Однажды произошло следующее на вечере у Сухновских. Эта семья, из старых эмигрантов, благополучно живет в Нью Иорке. Сам Федор Павлович Сухновский, по образованию инженер путей сообщения, вначале работал шофером такси, а потом стал владельцем гаражного дела. Жили в достатке с женой и дочерью, принимали друзей. Большей частью их посещали одни и те же близкие им люди, также много лет благоденствующие в Америке: сестра Сухновского, незамужняя 48 летняя Антонина Павловна (она служила на одной из крупных парфюмерных фабрик), 75-ти летний Филипп Филиппович, в прошлом богач и филантроп, а ныне живущий на государственную пенсию, и наконец, довольно занятная чета Гродэ, оба служащие в американской „Сирс — Робэк компани". Он — бывший военный, она бывшая красавица, с ярко рыжими волосами, тип женщин упорно не стареющих и которые кокетничают даже с самоваром.

Эти неизменные гости обычно поздно засиживались у Сухновских, где было уютно и весело. Хозяин недурно пел цыганские романсы, хозяйка умела угостить, а дочь Татьяна, которую все называли „Талочка", всегда была мила и услужлива. Но двадатилетней девушке было скучно. В такие вечера ей не хватало главного и самого трудного в Нью-Иорке; какого нибудь молодого человека, который согласился бы просидеть с ней весь вечер при свете и при родителях.

Не принес Талочке особенных перемен и приезд ее

кузена, Степана, из Югославии. Хмурый юноша предпочитал сидеть у себя в комнате и изучать английский язык.

Вечер в доме Сухновских, о котором идет речь, выпал особенным, и для Талочки имел большое значение: она ждала своего гостя, химика по атомным изысканиям, Александра Верхутина. Он недавно приехал из Франции. Они где то случайно встретились, а случайные встречи бывают роковыми . . .

Верхутин пришел, когда в гостинной находились супруги Гродэ, старичек Филипп Филиппович и сами хозяева. Молодой химик произвел на всех чарующее впечатление. К тому же, очутившись в новом для него русском доме, он старался придать себе некоторую значительность, если не загадочность — ученого „ атомного века ". Говорил он много, низким баском, часто дугой приподымая левую бровь.

Но прежде чем его успели хорошенько разглядеть, явился новый гость — Иван Кузьмич Трухан, Ди-Пи из Советского Союза. Его привела сестра Сухновского, Антонина Павловна. Это был мужчина лет 55-ти, низкорослый, скромного вида. В отличие от химика, он говорил мало, видимо стеснялся незнакомого общества, и пожалуй, чувствуя обращенные на него любопытные, пытливые взоры.

Появление этого человека было неожиданным и не совсем приятным. Время было еще какого то предубеждения к новым эмигрантам. Химик поднял на него бровь и как то уклонился подать руку. Хозяйка растерянно посмотрела на мужа, прошептала:

— Кто их знает . . . этих Ди-Пи . . . —

— А если никто не знает, так и нечего говорить . . .

— так же тихо, но веско ответил он. Пожалуй имея какие то свои соображения. А может довольный, что

его сестра пришла с кавалером, а то ведь всегда ходит по вечерам одна-одинешенька . . .

А по гостинной шло шушуканье по адресу новоприбывшего: Антонине Павловне досталось от г-жи Гродэ:

— Она и такому рада . . . — заметила она своему мужу.

— Одно имя чего стоит . . . — Иван Трухан, — усмехнулся он.

Во время ужина, г-н Гродэ сел за стол подальше от гостя, которого он мысленно прозвал: „ колхозник ".

Он занял место рядом с химиком и сразу задал ему вопрос об атомной бомбе. Верхутин оживился, видимо горя желанием блеснуть своими знаниями в области „ атомистики " . . . Со всех сторон послышались восклицания:

— Ах, расскажите, расскажите ! Это так интересно . . . жутко . . .

— Неужели вы думаете, что атомная бомба будет главным оружием в следующей войне ? — спросила г-жа Гродэ, бросая лучистый взгляд на молодого ученого. Тот не успел ответить, его опередил хозяин дома.

— Утешение одно, если случится такая беда, то и почувствовать не успеем. Бабахнет и конец ! . . . —

— Бабахнет это еще ничего, а когда постепенно отваливаются обожженные ноги, руки и все остальное . . . — заметила нервно хозяйка наливая чай. Ее руки дрожали.

— Осторожно, пока что свои лапки самоваром обожжете, — ласково заметил сидящий подле нее Филипп Филиппович.

— А если у вас, в самом деле, в Нью-Иорке, разорвется такая бомба, вы к нам, без разговоров, в Бруклин приезжайте ! — воскликнула рыжая красавица и, опять с нежным взглядом сказала химику:

— Вообще, как я слыхала, атомная бомба теперь не

так страшна, как какая то новая „водопроводная” .. . Расскажите о ней более подробно . . . —

Химик посмотрел на даму, не сразу сообразив, о чем это она ?

— Так называемая „сверх бомба”, авторитетно начал он, — содержит в себе определенное количество водорода . . .

— Имеет, что либо общее с перекисью водорода, которой выжигают волосы ? — спросила она.

— И мозги тоже, матушка, — проронил Филипп Филиппович, взглянув на ее волосы.

— Да, да, это правда, говорят, никогда не было на земле столько идиотов, как теперь, и все из за этих атомов, — вздохнула она.

— И без атомов их было достаточно, — улыбнулся старичек. Он хотел еще что то добавить, но г-н Гродэ нетерпеливо кашлянул и обернувшись к ученому проговорил:

— Что же вы нам скажете утешительного по этому поводу, молодой человек ? —

Верхутин ответил не сразу. В эту минуту он был поглощен профилем Талочки Сухновской, точно оторвавшись от нее, пробасил коротко:

— Утешительного . . . ничего . . . Я теперь работаю над собственной особо разрушительной бомбой . . . —

— О, Боже ! . . . неужели вы ? . . . — раздались ни то испуганные, ни то восхищенные голоса. А Талочка покраснела от удовольствия и захвативших ее каких то чувств.

Тетка-девица, шепнула ей во время:

— В нем много необычайного, интригующего, где ты, однако, с ним встретилась ? . . .

— В автобусе . . . — ответила девушка, покраснев сильнее; невольно вспоминая прошлую пятницу, когда так

удачно дернуло всю публику в бусе и она почти что очутилась в объятиях Верхутина.

— Судьба ... — добавила она тетке в ухо.

А голос ее „ судьбы " — химика уже гудел над всем столом о каких то чудесных сферах ... стихиях ... Он, в самом деле, казался необыкновенным человеком, носителем таинственных сил, света и тьмы ...

— Ужас ... ужас ... — стонала хозяйка, хотя она не слышала и не понимала всех слов ученого. Ее внимание было занято более существенной проблемой: „ довольно ли угощения ? нравится ли гостям куриный холодец ? " ...

Однако, чье то замечание о неизбежности третьей великой войны, встрепенуло ее. Она произнесла в сильном волнении:

— Подумать страшно ! Ведь Степе пошел 19-й год ... Он только что приехал, чтобы начать жить, и вот его могут забрать на фронт ! ...

Сухновская устремила взгляд на своего племянника, белобрысого юношу зажатого в конце стола, продолжала горячо:

— Я так надеюсь, что у него окажется грудная жаба или что нибудь в этом роде. Вот у Алешиных, так кстати сын остался без ноги в автомобильной катастрофе ... —

— Да, везет некоторым людям, — согласилась г-жа Гродэ, посылая сердобольный взгляд молодому человеку. Тот вдруг, вспыхнул и неожиданно выпалил:

— Пусть у меня найдут не только жабу, но и лягушку, я все равно пойду в американскую армию ! —

Вызывающе он смотрел на рыжую даму, потом взглянул на тетку и продолжал:

— Так рассуждать ... что-ж коммунистическое царство хотите здесь ? ! Или вы думаете, что такая страна, как Америка, не стоит жертв ? ...

Он выскочил из своего угла и быстро пошел из столовой, хлопнув дверью.

— Ого-го... такой пойдет в бой!... — первым очнулся от его выходки Филипп Филиппович, его морщинистое лицо сияло в догонку Степе.

— Мальчишка, отцовской плетки нет, — буркнул г-н Гродэ.

— Что-ж, верит еще в силу пехоты... когда теперь достаточно нажать несколько кнопочек... — заметил Верхутин, стараясь придать своему лицу нечто сатаническое. Хозяйку даже в жар бросило. У нее вырвалось истерично:

— Если бы люди не создавали вокруг себя устрашающих тайн, больше доверяли друг другу, тогда и ваших кнопочек не нужно бы было!...

Химик посмотрел на нее с удивлением — бросил саркастически:

— Почему же эту устрашающую тайну усматривать в науке, а не за железной занавесью? — Как бы невзначай он посмотрел на Трухана.

Все обернулись в сторону гостя, до сих пор молчавшего. Гродэ заметил:

— Да, вот приезжают все эти Ди-Пи, знатоки той жизни, рассказывают ужасы, да все чего то не договаривают... а то вовсе молчат... —

— Хочется забыть страшные, жестокие времена... — ответил негромко Трухан.

— Разве уж так плохо для народа? — взглянул на него Гродэ. Гость проронил опять тихо:

— А вы, не верите?...

Наступила неловкая пауза. Хозяйка спохватилась, быстро встала, как бы желая сразу прервать принявший неприятный оборот, разговор. За ней поднялись все. Талочка с химиком куда то исчезли. Гродэ застрял около Трухана, который потянулся за кусочком сахара.

— Изголодался, знаете, по сладкому . . . — сказал он.

— А мы, по правде ! — вызывающе произнес Гродэ. Антонина Павловна сделала попытку отвести в сторону своего „протеже”. Остальные смотрели на мужчин с беспокойством. Казалось, у всех пронеслась тревожная мысль: „Сцепились” . . .

Но гость из Советской России, произнес спокойно, с чуть уловимой усмешкой :

— Правды ? ! — Чего захотели в наш век ! Да где видел ее, русский человек, когда одна ложь только и могла дать ему надежду на спасение, там у своих, и в иностранных лагерях . . .

Заметив устремленные на него взгляды он продолжал живее:

— Я сам, грешным делом, благодаря обману, попал в Америку. В Германии уничтожил все свои документы и имя взял, какое на ум пришло, иначе депортировали бы в Союз . . . —

— Трухан, не ваша фамилия ? — удивился Сухновский.

— Нет, мое настоящее имя, Добролюбов, Дмитрий Игнатьевич. —

— Не родственник генерала Игнатия Михайловича ? — вырвалось у Гродэ.

— Родной сын. Отец умер во время гражданской. Неужели знали моего старика? может быть нашу „Малиновку” ? — лицо гостя просияло. Его узкие глаза заблестели.

— Конечно . . . — в некотором смущении сказал Гродэ; словно желая что то разглядеть в лице собеседника, воскликнул:

— Да неужели, это были вы, ребенком, когда я приезжал еще молодым офицером к вашему батюшке, за какой то протекцией ? . . . А ведь я узнаю теперь отцов-

ский разрез глаз ... Но ведь вам не может быть больше сорока лет ? ... —

— Приблизительно столько и есть — Страдания человека не красят ...

Гродэ перебил с жаром:

— Вы, конечно, будете хлопотать о восстановлении своего подлинного имени, Дмитрий Игнатьевич ? Это поможет вам со службой. Я первый буду хлопотать.

Гость покачал головой.

— Не думаю, трудная процедура. Да и к чему ? Со своим именем я сжег все корабли, обратного пути нет. А насчет работы, вот, добрая душа нашлась, хлопочет ... — он посмотрел на чуть побледневшую Антонину Павловну, и снова обращаясь ко всем заявил:

— Я, кстати, никому этого не рассказывал о себе, вырвалось случайно и очень прошу вас забыть ... —

С этими словами он стал прощаться. Благодарил хозяев за гостеприимство. С ним уходила Антонина Павловна. Г-жа Гродэ, как то томно посмотрела вслед уходящему, заметила в пол голоса:

— А если присмотреться, в нем есть что то породистое ... —

Ей никто не ответил. Почему то все заторопились уходить. Хватились Талочки и ее ученого, но их и след простыл.

Когда гости разошлись, родители стали искать дочь по квартире. Талочка оказалось в своей комнате, одна. Она стояла в странном оцепенении. Взгляд ее был устремлен в пространство, при виде родителей, она заговорила, как в трансе:

— Он ... сказал ... что любит меня безумно, но будущего у нас быть не может ... сегодня, завтра, весь мир взлетит на воздух ... Он хочет ... чтобы я не задумываясь, встретилась с ним сегодня ночью в гостинице ...

Тут Талочка бросилась к матери с криком:

— Мама ! . . . я его тоже люблю безумно . . .

— Что ! . . . где этот алхимик ? — закричал вне себя Сухновский и бросился в переднюю; чуть не свалил с ног Филиппа Филипповича, застрявшего в поисках калош. Это привело Сухновского в себя. Он опустил руки, проговорил с дрожью:

— Вот, до чего доводит молодых людей эта наука ! в жизнь перестали верить.

Старичек торопился уйти. Бормотал на ходу:

— Эх, эти новые люди . . . только тоску развели на весь вечер, лучше бы „ краковяк " станцевали . . .

ЧЕРНЫЙ ВОРОН

С налетом сумерек, небольшая комната в Астории, накануне снятая четой Перловых, ярко осветилась электричеством. Вера Викторовна находила особое наслаждение поскорей зажечь все находящиеся в комнате лампы: первую на потолке, похожую на фанарь, вторую стоящюю в углу с абажуром, напоминающим старинный кружевной зонт и две совсем игрушечных, помещающихся на письменом столе и между кроватями. И сразу наступил тот теплый уют, о котором еще вчера подумала Вера Викторовна, с не мало поразившей ее другой мыслью, „что только в Америке возможна такая щедрость электрического света для посторонних жильцов, да еще для Ди Пи" . . .

Но странное дело, так много волнующего и радостного, переполнявшего ее душу за последние дни их новой жизни, стало почти неощутимым в эти минуты, сменяясь каким то другим настроением, похожим на ту же тревогу, которая мучила ее в Германии, в жуткой лагерной жизни . . . Перлова поймала себя на мысли, что она не спроста обеспокоенна одним обстоятельством, и только ослепленная внешним благополучием, могла так легко забыться, поддаться соблазну и не спохватилась во время . . .

Холодок пробежал по ее телу. Она взглянула на часы и опять ее осенила мысль, что она с пяти часов находится в этом мучительном состоянии тревоги. Она бросилась к окну. В вечерних тонах, тихая загородная улица, дома, похожие на дачи и начинающая кое-где распускаться зелень, все это показавшееся ей столь при-

влекательным вчера, сейчас обволоклось таинственностью, пугающим молчанием, вызывало в пространстве самое жуткое для нее видение: „Черный Ворон”...

Теперь Вера Викторовна была вся во власти воспоминаний сегодняшнего дня: в час дня, она со своим мужем, Николаем Ивановичем, вошла в булочную, соблазнившись пончиками с вареньем в витрине. Других покупателей не было и хозяйка, оказавшись старой эмиганткой-венкой. проявила к ним радушие и внимание, особенно, когда она узнала кто они и откуда. Говорили по немецки, что внесло еще больше тепла и откровения в разговор. Вера Викторовна, голодная по каждому слову, охотно рассказывала булочнице всю трагедию их судьбы, а Николай Иванович смотрел на пышные булки. Венка-булочница прослезилась слушая Веру Викторовну; „как их увезли нацисты из родного города Советской России, где ее муж занимал место первого кларнетиста в симфоническом оркестре”. Булочница обожала музыку, понимала ее. Она стала хвалить Америку за ее достижения в этом направлении, и предсказывала Вере Викторовне, что ее муж скоро найдет свое счастье в каком нибудь оркестре, только, конечно, нужно ждать...

— Ждать?! Как долго можно ждать? Ведь мы уже живем на долги, а мой муж первоклассный кларнетист! — Обидчиво, горестно воскликнула Перлова, даже не обратив внимания на новых покупателей. Двое мужчин стояли подле нее и ждали своей очереди. Один из них посмотрел на Веру Викторовну, потом обернулся на Николая Ивановича, и вдруг спросил его по немецки.

— Вы, Ди Пи из Германии? Кларнетист? —

— Да, — ответил Перлов в самом лучшем расположении духа от сладкого запаха булок, похвалился перед незнакомцами, что играл почти во всех лучших оркестрах России.

Мужчины переглянулись между собой и говорящий

по немецки опять обратился к Николаю Ивановичу с вопросом:

— Мог бы он сыграть с одной репетицией симфонический концерт ? И это ничего, если он еще не состоит членом юниона музыкантов, они все устроят. У них завтра традиционный вечер-концерт, а их первый кларнетист внезапно заболел. „Вы же за это получите тридцать долларов ”, — добавил он с улыбкой.

„Тридцать долларов ! ” Радость охватила Веру Викторовну, не менее счастлив был Николай Иванович, немедленно давая свое согласие.

— Через час мы за вами заедем. Репетиция сегодня в три часа, будет продолжаться не более двух с половиной, трех часов. Ваш адрес ? — Они ушли, крепко, тепло пожав руки Перловым. Вера Викторовна и Николай Иванович наскоро купили булки, кое-как позавтракали дома и в радостном волнении стали ждать милых американцев. Им не верилось, что все произошло на яву и, что это не была шутка. Но ровно в два часа к их дому подъехала машина и увезла Николая Ивановича с его инструментом под мышкой.

Вера Викторовна смотрела улыбаясь вслед красивой темной машины.

„Пригласили сегодня, пригласят и после ” — были ее последние сияющие мысли, а потом стало темнеть в воздухе, в комнате и внезапная тьма вошла в душу Перловой: „Почему они так легко доверились этим мужчинам ? Кто они ? И разве все случившееся не похоже на хитры, жуткие уловки советских агентов, которые вот так же, средь бела дня похищали невозвращенцев, увозили несчастных в полную неизвестность на таких же машинах, носящих страшное прозвище — „Черный Ворон „ . . .

Все вероятней и пугающе становились предположения Веры Викторовны. Лицо булочницы-венки вспоми-

налось подозрительно-добродушным с ее заманчивыми пончиками... Перлова не находила себе места. Уютная комната, в которую она вошла с такими светлыми чувствами, превратилась в тесную конуру памятных ей канцлагерей, где суждено ей было узнать тяжкие унижения и вечный страх за мужа, всегда почему то подвергавшемуся странным подозрениям. Однажды немец бросил ему в лицо кларнет с приказом сыграть „Хорс Вессель Лиед". А находясь в американской зоне, каждый стук в дверь, ночные голоса, шум, сжимали сердце предчувствием, что это он — „Черный Ворон" за ним... Но спасется ли он теперь от него?..

— Коля, Количка! как я могла отпустить тебя одного? — со слезами вскрикивала Вера Викторовна, всматриваясь в темноту улиц, а потом металась по комнате. Часы безжалостно бежали вперед. Когда стрелка была близка к девяти часам, она не выдержала пытки и, как была в халате с комнатными туфлями на босую ногу, понеслась из дому, своим видом испугав квартирную хозяйку и ее кошек.

Перлова знала немного английский язык и это помогло ей найти полицейский участок. Она увидела первого молодого полицейского и бросилась к нему с мольбой:

— Помогите! — мой муж пропал, его похитили!...

Полицейский без слов взял ее под руку и скорее ласковый, чем встревоженный, задал ей вопрос, где она живет? Перлову всю передернуло от догадки, что он принял ее за сумасшедшую. Она стала вырываться, требовала его начальника. Полицейский, наконец, подвел ее к двери участка, сказал: — Войдите, сударыня. —

Вера Викторовна перешагнула порог со страхом, — „не хотят ли ее запереть?" Она сразу увидела в большой комнате за длинным столом пожилого человека в

полицейской форме. Перед ним стояли два других полицейских и между ними оборванец, не трезвого вида. В лице Перловой была такая паника, что полицейский уступил ей место к начальнику, забрав в сторону своего пленника.

С сильно бьющимся сердцем и слабеющими ногами Вера Викторовна застонала:

— Г-н инспектор, помогите, мой муж пропал с двух часов дня ! —

Начальник бросил на нее внимательный взгляд.

— Сколько лет вашему мужу ? — спросил он не меняясь в лице.

— Что это имеет общего ? — мы приехали из Германии, мы русские. Ди-Пи, невозвращенцы и подвергаемся ежеминутной опасности . . .

— Ваш муж говорит по английски ? — перебил ее полицейский и опять на его лице ничего не выразилось. Перлова подумала с возмущением: „Какие эти американцы бездушные ! " — а вслух она произнесла:

— Мы оба говорим, но не в этом дело, г-н инспектор. Мой муж музыкант, его какие то люди пригласили играть концерт и увезли на репетицию.

— Значит он играет репетицию, сударыня, — полицейский уже с некоторым движением в глазах посмотрел на Перлову, заметил ее несчастное побелевшее лицо, добавил:

— А где должен был состояться этот концерт ? —

— Они ничего не сказали, в этом вся тайна ! — воскликнула она.

— Намечен ли какой нибудь концерт у нас в Астории ? —

— Да, сегодня у пожарных „Бинго " и танцы под духовой оркестр, — ответил один из полицейских. От него рванулся оборванец, закричал: — Урра ! Бинго ! — его усадили на место.

— Если ваш муж трубач, то он наверно у пожарных, — сказал инспектор. Вера Викторовна вспыхнула.

— Мой муж — кларнетист! он играет в симфонических оркестрах и сегодня должна была состояться репетиция на три часа, так во всяком случае они сказали . . .

— Вы должны знать, сударыня, что репетиции часто затягиваются, и, наконец, ваш муж мог зайти в кафетерию выпить кофе. — На лице начальника мелькнула улыбка. Перлову это задело.

— Он не пьет кофе ! —

— Тогда он сидит где-нибудь в баре с новыми друзьями за рюмкой виски ,— шире улыбнулся он. — Он виски в рот не берет ! —

Оборванец опять рванулся с места, залепетал в сторону Перловой:

— Э-то — я им говорю, мэм, ненави-жу виски ! . . . —

Веру Викторовну всю передернуло. Она вскрикнула:

— Значит вы ничего не сделаете, чтобы спасти моего мужа ? . . . Ведь мы сейчас всецело находимся под вашим покровительством ! — Она с заметным презрением смотрела на бесстрастное лицо инспектора, продолжала повышая голос:

— О ! как вы наивны . . . вы ничего не знаете, что творится у вас и на что способны Сталинские агенты ! или вы не верите, что они, наверно уже отправили моего мужа в Москву или расстреляли по дороге . . . О, Боже, что мне делать ? . . .

— Если ваш муж не вернется до утра, тогда мы поможем вам его найти, — заметил начальник и как то строже посмотрев на нее добавил:

— И помните, сударыня, что вы именно находитесь теперь под покровительством Соединенных Штатов. Он

подозвал к себе полицейского, ноги Веры Викторовны подкосились, страшная мысль пронеслась в ее голове:

„Все кончено... ее арестуют за оскорбление Америки. Сколько раз ее предостерегали"...

Молодой полицейский подошел к ней и вежливо сказал: так как на улицах темно, он проводит ее до дому.

Было около одиннадцати часов вечера, когда Вера Викторовна подходила к своему дому. Ярко освещенные окна заженных ею ламп напомнили ей все, вызвали опять волнение. Она сказала полицейскому:

— Я вернусь к вам в участок через час, я не дождусь утра...

Вдруг она вздрогнула, фонарь полицейского осветил чью то фигуру.

— Вера! Веруся! — где ты была? — послышался крик.

Это был Николай Иванович, бежавший к ней навстречу. Супруги, как безумные бросились друг другу в объятия. Голос Николая Ивановича дрожал:

— Я вернулся домой к девяти часам, репетиция продолжалась до восьми, в какой то Нью-Иоркской школе, с хором, солистами. Я получу вместо 30 долларов, сорок пять! Но как я испугался не застав тебя, а лампы в комнате горят. Что я только не передумал, родная, даже вспомнил „Черного Ворона"...

— И я, и я! — восклицала Перлова обнимая мужа и тут вспомнив о полицейском, шепнула ему:

— Коля, поблагодари его, если-бы ты только знал, какие они здесь замечательные, спокойные, ничего не боятся... —

Николай Иванович стал быстро шарить в своем кармане, найдя какую то мелкую монету протянул ее полицейскому, сказав при этом:

— Да, вы счастливый молодой человек, что не знаете вкуса „Черного Ворона". Полицейский улыбнулся.

— Вы таких папирос здесь не найдете, сударь, но попробуйте вот эти... — и не замечая протянутой монеты, он предложил Перловым пачку американских папирос — „Лёки Страйк".

* * *

ЛЮБОВЬ

Сравнительно молодой человек приличной наружности сидел на скамье Нью-Иоркского городского парка, загнанный сюда тоской и одиночеством. Перед ним цветущая природа пела о лете, о любви, а позади трещал неугомонный город, мало знакомый ему и без единой близкой души.

Очутился он в нем случайно. В Питсбурге на работе серьезно повредил правую руку, пролежал в больнице около месяца, получил не плохую компенсацию и на прощанье ему сказал доктор.

„Теперь, молодой человек, воспользуйтесь чудесной порой года, поезжайте куда нибудь в новые места развлечься".

Вадим Кузьмич Пущин выбрал Нью-Иорк и после трех дней пребывания в нем, понял, что ошибся. Но к нему пришла грустная мысль: „Найдется ли на земле такое место, где он мог бы развлечься"... Вся жизнь ему давно наскучила, стала ненужной... Однако, по выходе из больницы, навстречу солнечному дню, в его душе вспыхнула искорка жизнерадостности. Появились какие-то подсознательно-сладкие чувства, в которых он сразу не разобрался. И вот, на садовой лавочке, они вернулись к нему более понятные, осязательные. Молодой человек ощутил в себе сладкое томление по женской любви...

Долго, как то неопределенно он держал в руке русскую газету, изредка задумчивым взором смотрел на строчки и ясно не вникал в прочитанное. К тому же в воздухе темнело, печать сливалась, слова стали мешаться, перескакивать. Он читал объявления:

„Барышня дает уроки русского языка взамен английского... брак возможен"...

„Дама... на полном ходу нуждается в компаньоне с небольшим капиталом"...

„Требуется уход к супружеской паре... малолетнего возраста...

Вдруг Вадим Кузьмич уставился в одно объявление. Приблизил его к глазам, прочитал внятно:

„Интересная вдова средних лет ищет тепла и уюта с интеллигентным господином не старше 40 лет".

Вадим Кузьмич даже вздрогнул от неожиданности. Он вполне соответствовал требованиям вдовы.

Не вдаваясь в размышления, не теряя минуты, он помчался по указанному адресу. Через какие-нибудь полчаса он нашел дом в три этажа на красивой уличке в зелени, ведущей к знаменитому Гудзону. Квартира оказалась на первом этаже. На двери была надпись — „Софи Синяк".

Вадим Кузьмич не помнил, когда так взволнованно и сладко билось его сердце, словно очутился в предверии желанного счастья. На его звонок без замедления открылась дверь и он увидел небольшого роста старенькую особу в розовом. Почти детского фасона коротенькое платье, розовые туфельки, в ярко рыжих волосиках розовая лента. Она улыбалась, показывая свои ровные хорошенькие зубки. Отлично починенная старушка!

Он слегка смутился, произнес неуверенно:

— Я по объявлению... Это вы... вдова средних лет?..

— Да это я! — немного свысока ответила она, — Софья Петровна. Встретив его взгляд, она добавила: — Что вас удивляет?.. мой средний возраст... Вы наверно недавно в Америке?.. я бы и вам дала значительно больше 40 лет. У вас седина!..

— Я поседел рано, — проронил он не двигаясь.

— Это вам к лицу, — смягчилась г-жа Синяк. За-

смеялась и воскликнула: — Что-ж, нравлюсь я вам или нет, все равно входите. Я приготовила чудесный пирог с яблоками.

Неизвестно, какая сила толкнула Вадима Кузьмича войти в квартирку разукрашенной старушки. Может быть яблочный пирог?.. Да и вся окружившая его обстановка, вызвала в нем приятное чувство давно неиспытанного домашнего уюта. Он слегка повеселел. И странное дело, пока он сидел за вкусно обставленным столом, принимая гостеприимство хозяйки, ему все казалось, что вот-вот откроется дверь следующей комнаты и войдет внучка или правнучка г-жи Синяк, молодая вдовушка, высокая, стройная, вся в черном с прекрасными грустными глазами. Она присядет к их столу и он спросит ее с замиранием в сердце: „Это вы давали объявление?..

— Да, — ответит она и в смущении откусит кусочек яблочного пирога". Вадим Кузьмич сам ел его бессознательно и безостановочно, пока хозяйка не отодвинула пирог с замечанием:

— Ко мне может придти кто другой... если вы...

Он опомнился и встал.

— Я еще загляну к вам, — сказал он с прорвавшимся в нем хорошим чувством. — У вас так уютно...

Она вся порозовела.

— Почему же вам не остаться подольше?.. спросила она. Вечер жаркий... у меня телевижен. Много закусок, рыба в соусе... В спальне — прохладительная система...

Но Вадим Кузьмич спешил уйти. Он переступил порог в переднюю. Г-жа Синяк остановилась у открытых дверей. И тут произошло чудо.

Из парадного входа появилась высокая девушка в темном платье, скромно причесанная с прекрасными грустными глазами...

— Здравствуйте Софья Петровна, — произнесла

она негромко и стала быстро подниматься вверх по лестнице.

Вадим Кузьмич оторопел. Это было видение его фантазии, мечты!

— Кто это?! — вырвалось у него.

Г-жа Синяк из розовой стала зеленой.

— Квартирантка с третьего этажа! Засохшая учительница! — бросила она и со всей силой захлопнула двери.

Он как опьяненный, не давая себе отчета, пробежал лестницу до третьего этажа, позвонил у двери с именем „Ирина Белугина".

Та же девушка с прекрасными глазами очутилась перед ним. Изумленно смотрела на него. Он произнес с волнением:

— Простите... вы давали объявление?

— Давала, — ответила она просто, — но давно... о потерянной собачке.

Вадим Кузьмич почувствовал облегчение.

— Можете представить, — заговорил он живее. Я об этом вспомнил только сегодня. Вы потеряли овчарку?

— Нет, пуделя. Но какая разница, — вздохнула она, — я лишилась, главное, моего маленького дружка...

— Единственного? — осмелел он.

— Нет, у меня есть еще маленькие друзья. Школьная детвора. Я учительница, как была моя мать еще из первой эмиграции.

— Я знаю, что вы учительница.

— От госпожи Синяк? — девушка не удержалась от улыбки и сказала: — Вы пришли по ее объявлению?

Вадим Кузьмич покраснел и вдруг ответил запальчиво:

— Да, по объявлению-любви!

Как бы заживо задетый, он добавил:

— Я, из последней эмиграции... значит нашатался по миру...

Он готов был уйти, но услыхал ее мягкий голос:

— Хотите быть моим гостем ? — побеседуем . . . Как ваше имя ?

— Вадим Кузьмич Пущин.

— Пущин ? . . фамилия друга Пушкина.

— Никогда об этом не думал. Возможно у меня есть тяга к поэзии . . .

— У нас найдется о чем поговорить. А то знаете что ? — перебила она себя. — Я живу под крышей, душно. Пойдемте лучше на прогулку.

Они вышли. Наступивший вечер обдал жарой и тишиной. Житейская суета примолкла.

Над всем только властвовала вечно прекрасная, мистическая тайна — любовь . . .

* * *

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

За время своего недолгого пребывания в Америке (приехали весной из Штутгарта) Матвей Петрович Хохлаков успел оценить некоторые достоинства новой страны. А служба на фабрике сблизила его с простой и доброй душой американца. В первый же день „Формен" хлопнул его по спине, как старого знакомого, а теперь то и дело, подвозит его на своей машине домой.

Софья Тимофеевна Хохлакова, не так легко поддавалась очарованию новой жизни, говорила мужу, что Америка страна материалистическая и без долларов далеко не пойдешь. Об этом она по наслышке, еще в Германии знала.

Их десятилетний сынок Петруша, с сентября месяца пошел в американскую школу и все свои чувства держал в секрете, даже ни одного английского слова не произнес дома, как ни упрашивал его отец. Но не прошло и трех месяцев Петрушиной школьной жизни, как он объявил дома, что через три дня, в Америке большой праздник и он выступает в американской пьесе на школьном утреннике.

Родители точно ослышались. Правда, Петруша не раз их удивлял своими способностями: на родине, когда ходил в детский сад, был самый сметливый, наизусть читал хвалебные стишки „Отцу народов". Награды получал, а в Германии, в школе, немецкий язык становился ему — как свой, хотя немецкие мальчишки его били и обзывали — „русская свинья"...

За последнее лето, на русской ферме, вблизи Нью Иорка, он также отличился, молитвы выучил. А в американской школе, из второго, в третий класс был быстро

переведен. Но всех этих успехов все-же было недостаточно, чтобы американским актером стать...

Начались расспросы: „Кто ему об этом сказал?.. Не смеются ли над ним американские мальчишки...

У Петруши натура была независимая, гордая. Он обиделся и опять замолчал. Матвею Петровичу стало тревожно за сына, подумал:

„Может-быть, в самом деле, американцы открыли талант у его мальчика?" Он начал уже ласково давать советы Петруше:

— Петруша, откажись, пока не поздно. Поучись сперва у американцев, а там, ступай к ним на сцену, даже на кино-съемки... —

— Не могу, папа, я в главной роли выхожу... —

Матвей Петрович совсем растерялся. Решил с женой посоветоваться, но у Софьи Тимофеевны свои неприятности были; от соседки она узнала, что в этот американский праздник, к обеду полагается жаренная индейка. А цена на птицу была недоступная. Она разнервничалась, раскричалась:

„Раньше нужно здесь миллионером стать, а потом их праздники справлять!"

Матвею Петровичу на душе стало еще горше. На сына росла обида. Любил он Петрушину натуру, сам не раз говорил, что у мальчика жизненная закалка складывается. Сколько его ребенку пришлось пережить?.. Только на этот раз, ему казалось, что сын пренебрегает отцом.

„Может быть, не к добру, вся эта затея с театром?"... А Петруша продолжал молчать, все в себе таить, сам не свой; волнуется, полное отсутствие аппетита, плохо спит...

За ночь до спектакля долго ворочался, что-то шептал; вероятно роль повторял. Не выдержал Матвей Петрович, подошел к сыну, тихо позвал:

— Петруша, ты не спишь? Давай лучше поговорим?

Расскажи мне хотя-бы суть этой пьесы... ведь я — первый тебя грамоте учил... —

Петруша приподнялся, бодро ответил:

— Закваска очень интересная, историческая... садись... И он стал живо рассказывать, только о своей роли умолчал. На прощанье зевнул, сказал хитро: — Сам увидишь... —

На следующее утро, Петруша был готов в 7 часов утра. Повеселел и рвался в школу. Уходя, сказал родным, чтобы они не опоздали к спектаклю, который начнется в 9 часов утра.

До школы было ходьбы минут пять, но Матвей Петрович сразу сорвался за сыном. Сквозь волнение и страх за Петрушу, его разбирало любопытство; посмотреть поближе на американскую школу, которая такие чудеса делает, что даже собственный сын становится загадкой. Софья Тимофеевна отказалась было идти с мужем, но в последнюю минуту быстро собралась, одела новое платье, шляпку.

Хохлаковы долго бродили подле красивого здания школы, а как только раскрылись двери, они первыми стали у кассы. Неожиданно хлынула публика. Шла прямо в зал, а оконце похожее на кассу так и не открылось. Софья Тимофеевна возмутилась:

— Что-же это ? значит всякий с улицы может прийти и сесть ? —

— Все дети школы с этих улиц, стало-быть, по районному закону, всем родным места есть, — находчиво ответил Матвей Петрович. В приподнятом настроении, он осматривал большой зал; множество стульев. Сцена была украшена осенними листьями. Хохлаковы сели поближе. Грянула музыка со сцены; там виднелся громкоговоритель. Не успел Матвей Петрович сделать это открытие, как на сцене появились мальчики с капюшонами на головах, он вспомнил слова сына, что первыми по

кажутся пилигримы, „вроде как невозвращенцы религиозного толка" . . .

— Кто это — палачи? — спросила Софья Тимофеевна. Матвей Петрович не ответил. Он искал своего Петрушу и не находил. Следующими на сцене показались индейцы с размазанными по лицам красками. Среди них Петруши также не было. У Матвея Петровича пронеслась беспокойная мысль:

— „Не испугался ли Петруша в последнюю минуту, не убежал ли домой". От этого предположения краска выступила на его лице. Он решил сбегать домой, узнать. Но пройти через зал стало невозможно. Публики набилось много, в проходе, к сцене двигались девочки-артистки, в чепцах, передниках. Каждая несла по пирогу. Матвей Петрович опять вспомнил слова сына, что в пьесе будет обед. И тут-же его осенила догадка:

„Петрушу вероятно одели традиционной индейкой, он и будет самый главный!"

— Жди, жди индейку . . . — шепнул он жене.

— Да я ее жду, сама удивляюсь, в пьесе столько индейцев и ни одной невесты или жены . . . — ответила она.

— Да я про птицу, к их обеду . . . — Софья Тимофеевна усмехнулась.

— Наивный ты человек, так они тебе и подадут, с соусом . . . —

— Я о Петруше говорю, — волновался Матвей Петрович. Но индейка не показывалась, а пьеса шла живее. Мальчики в одеяниях палачей, взяли по пирогу. Два индейца схватили одного. У Матвея Петровича дрогнуло сердце.

„Не Петрушу ли это? — что то сделал не то, предупреждал я его!" . . .

Но никакого смущения на сцене не произошло. По ходу пьесы, индейцы стали хватать всех пилигри-

мов, тянули их в темноту, к стенке. Софья Тимофеевна ворчливо произнесла: — Вроде энкаведистов ... —

Пьеса увлекла ее, напомнила что-то из недавнего прошлого. Она и о сыне забыла, а Матвей Петрович продолжал нервничать, терял терпение, опять хотел улизнуть. Как вдруг, жена вскрикнула: — Петруша ! —

На сцене стоял новый индеец в красном одеянии, с перьями. Он смотрел в их сторону и улыбался. Это был их Петруша, сам вождь ! Матвей Петрович сиял, но мать недовольно заметила:

— Что же это он, индейского „Фюрера" разыгрывает ? — руку вытянул ! . .

А Петруша важно расхаживал. Ни одного слова не произнес, но порядок востановил. Началось общее рукопожатие. Наступил мир и начался общий обед. И хотя не сцене никакой еды не было, кроме бумажных пирогов, разнесся душистый, вкусный запах жаренной индейки. Аромат дошел до Софьи Тимофеевны, вызвал у нее тихий вздох.

Пьеса кончилась, послышались громкие рукоплескания. Пилигримы и индейцы соскакивали со сцены в публику, обнимались с родными. Прибежал Петруша без плаща, красный, возбужденный и счастливый. Взял за руки отца и мать, потянул их куда то со словами:

— Теперь идите в нашу столовую, там всех будут угощать индюшкой с вареньем. На столике лежат салфетки моей работы. Я сам буду вам прислуживать ... —

Он несся вперед. Был здесь как свой; его звали, дети догоняли, хватали за руки, кричали: — „Питр ! Питр !" . . .

К сердцу Матвея Петровича прилила радость от виденной ласки американских детей к его сыну, за все человеческое тепло и благополучие жизни, которое с силой предстало перед ним в эти минуты.

Как-бы осознал и всю глубину значения американского праздника — „Дня Благодарения".

Он обернулся к жене, чтобы сказать ей это, но остановился. Он видел ее сияющее лицо, ее материнские глаза были обращены на счастливое лицо Петруши, она хватала его руку, спрашивала:

— Петруша, а как по-русски называется этот праздник ? —

— День . . . день . . . „ спасибо " . . . — выкрикнул он, и, вырвавшись от нее, побежал с детьми вперед.

* * *

ВОЛШЕБНЫЙ ДОМ

Инженер-архитектор Вадим Михайлович Орехин и его жена Юличка, (Юлия Кондратьевна) едва освоились на новой земле, как стали с какой то головокружительной быстротой вести светский образ жизни. Пожалуй, следуя мудрым советам, что в Америке знакомства — это все !

Сначала они ходили к знакомым по Белграду; объедались тортами и вспоминали прошлое. Потом у них завелись знакомства поважнее — с американцами, без тортов, но полезные для будущего.

Однажды они получили приглашение от известного архитектора — американца в его загородный дом, на обед. Приглашение пришло не без содействия их друга Акименко, тоже архитектора, благодаря которому они попали в Америку. Теперь от предстоящего обеда зависело самое главное — место для Вадима Михайловича.

Юличку волновали другие соображения: Акименко говорил им, что они попадут в дом, который без преувеличения можно назвать „Волшебным" по архитектуре и современным удобствам.

Юличка пропустила два дня на фабрике, сказавшись больной. Она бегала по магазинам, часами стояла в очередях, под конец совсем извелась, но уж зато приготовилась к званному обеду !

Акименко вез их за город в своем автомобиле. Юличка чувствовала себя повеселевшей и словно переродившейся в новом шелковом костюме, с шапочкой под цвет. Предвкушала удовольствие от ожидавшего ее комфорта в „волшебном доме", где ноги утопают в мягких коврах, а около кресел стоят столики, полные вкусных ве-

щей... По рассказам Акименко, жена хозяина русская, значит, умеет угостить...

К месту назначения подъехали засветло. Из окон машины увидели на гористом возвышении дом. Юличка разочарованно протянула:

— Что в нем особенного?..

Муж добавил:

— Пожалуй, немного низковат и много окон...

— Окон?!.. воскликнул Акименко, как ужаленный. — Это сплошное стекло, господа!..

Когда гости подъехали к дому, они в самом деле начали замечать нечто поразительное: дом был стеклянный. Косые лучи заходящего солнца бросали на фасад розоватый отблеск и получалось нечто вроде окон, но все яснее выступала прозрачная стена за которой виднелась какая то жизнь, силуэты, цветы...

Входная лестница оказалась из черного камня, а двери опять таки блеснули стеклом. Они распахнулись как то сами собой, от неожиданности Юличка сильно ударилась локтем. Акименко тут же объяснил чудесную систему открывающихся дверей при помощи электричества.

Новое зрелище отвлекло Юличку от боли. Они очутились словно в оранжерее или в дорогом похоронном бюро. Отсюда неслась другая лестница, на площадку, здесь уже было много публики, оживленной, нарядной, все пили из больших стаканов какой то напиток. Такие же стаканы счутились в руках новоприбывших.

После нескольких глотков, Юличку качнуло в сторону и она потеряла из виду своих... Но не растерялась. Ее даже охватил восторг от всего. Она заметила уютное углубление, вроде отдельной гостинной с видом в сад, утопающий в налете сумерек. Ее потянуло сесть там в удобное кресло. Но едва сделав шаг, она услыхала громкий, любезный голос, как видно, самого хозяина — американца. Он подливал всем напитки и предупреждал

быть осторожнее у стеклянной стены, огораживающей гостинную. Другой гость, также американец, стал рассказывать Юличке, что его сынишка однажды гостил в этом доме, с этого самого места увидел в саду собаку, бросился вперед и расквасил себе физиономию. Пришлось наложить несколько швов.

Юличка попросила милого американца принести ей холодной воды. Он не расслышал или не понял. К тому же произошло какое то движение; гости становились в очередь. Напомнило Юличке магазины. Она также стала за остальными в очередь и медленно, так же, как в магазине, двигалась вперед, пока не очутилась в большой кухне. Стаканы с напитками исчезли, на смену появились тарелки: перед гостями предстали всевозможные разукрашенные блюда с салатами (от картошки до ананасов) — все это накладывалось на тарелки. Потом их приветствовал огромного роста повар — негр. Перед ним возвышался огромный кусок мяса. От лезвия ножа негра, ловко отскакивали окровавленные куски и попадали на тарелки. Юличка не отставала от других. С переполненной тарелкой она, наконец, вошла в столовую. Ярко светились люстры над несколькими столами из стекла. И от какого то общего блеска, сияния — ослеплялось зрение, с трудом можно было увидеть, где сесть. Юличка, все же, заметила мужа и Акименко за столом с хозяином. Она же была рада пристроиться на первом попавшемся ей месте, с трудом стала справляться с едой, теперь без всяких напитков и хлеба. Похолодевшее мясо с кровью застревало в горле, вызвало жажду. От слишком сладкого дессерта, жажда стала мучительной и Юличка решилась на отважный шаг: она незаметно скрылась из столовой, попала в ту же кухню, с наслаждением напилась воды, а оттуда пробралась на знакомую площадку. Нигде не было ни души. Ее снова потянуло в гостинную. Она помнила предостережение хо-

зяина, долго щупала стеклянную стенку, пока не оступилась и не попала в нужное отверстие — вход.

В гостинной стояла приятная полутьма. Свет шел лишь из сада, мягкий, предвечерний. Юличка с удовольствием опустилась в кресло, закрыла глаза. Вдруг почувствовала странное кружение.

„ Да неужели это я напилась ? ” ... подумала она с испугом открывая глаза. И тут поняла, не сразу, что это кресло под ней крутится во все стороны. Она всеми силами уперлась ногами в пол, кресло не унималось. Юличка вздрогнула, женский голос по английски послышался вблизи:

— Правда, замечательно ? ! .. Вы сейчас увидите первую звезду ...

— Где ? .. растерялась Юличка, и увидела даму сидевшую в другом кресле. Та также крутилась и говорила оживленно:

— Меня всегда увлекала астрономия ... Смотрите, вон зажглась ! — показала она куда-то в небо.

Юличка не разделяла восторга дамы. Хотя цель крутящихся кресел ей стала ясна. Но она не собиралась проводить время в обсерватории. Ей хотелось спросить американку: „ есть ли здесь обыкновенные стулья ? ”

К счастью, она сама сообразила и, с кружащейся головой оставила гостинную, чтобы найти уборную. Не сомневаясь там найти недвигающееся сидение.

Она легко нашла дверь черного цвета и безошибочно вошла в хорошенькую комнатку пропитанную духами, в зеркалах, со всякими туалетными вещицами. Увидела другую дверь и вздрогнула; она была из стекла и за ней стоял мужчина, делавший ей отчаянные движения, чтобы она не подходила. Юличка выскочила из уборной сама не своя.

Как раз навстречу ей показались гости выходящие из столовой. Впереди всех шел хозяин, теперь он, как

гид, сопровождаемый туристами, объяснял достопримечательности своего дома: нажимал какие то кнопки, ручки... Все начинало двигаться, открываться. Непонятно откуда загремела музыка. Гости выглядели завороженными. Здесь был и сияющий Акименко и немного растерянный Вадим Михайлович. Он увидел Юличку, бросился к ней, как будто сам только что спустился на землю, спросил: — где она была? Почему так раскраснелась?

Та слабым голосом попросилась домой...

Вадим Михайлович сам сознался, что он не прочь уехать... Но Акименко и слушать не хотел. Он, кстати, только сейчас познакомил Юличку с хозяйкой дома. Моложавая женщина с типичным русским лицом говорила по английски, в виде исключения, сказала Юличке по русски „очень рада" и сразу унеслась к другим гостям.

Акименко наконец уступил их просьбе и отвез домой. Он долго еще оставался у них, весь под впечатлением визита „волшебного дома". Уверял Вадима Михайловича, что сегодняшнее знакомство принесет ему большую пользу..

— Сам заведешь такой же дом, если не лучше, — говорил он.

Юличка сидела на диване, поджав под себя ноги, ей почему то хотелось крикнуть: „Не надо... не желайте нам этого!.. Стеклянный гроб хорош только в сказке"...

И опять она слышала Акименко, рисовавшего перед мужем чудеса строительной техники, когда без всяких нажимов рук будут открываться окна, стены... ни к чему будут человеческие ноги...

Юличке вдруг припомнился случай с одной дамой, лишившейся ноги в автомобильной катастрофе и полу-

чившей в больнице письмо от мужа, „чтобы она домой не возвращалась” . . .

Сквозь одолевавший сон и какую то тревогу, она все крепче поджимала ноги, как что то ей еще нужное и дорогое . . .

* * *

ПИСЬМО

(Пародия на М. Зощенко)

Драгоценнейший друг мой !

Давненько не писал тебе, а за последнее время, доложу я тебе, в нашей местной русской жизни, развернулось много событий; людишек новых наперло и курьезы получаются, так что невозможно не поделиться с тобой. Конечно, многое тебе самому известно сторонкой или через печать, да вряд-ли с должной точностью.

Прежде всего хочу написать тебе насчет новых эмигрантов, что сотнями прут в Америку. Да пущай себе прут ! Небось, намотались они по свету. В лагерях всякая сволочь над ними измывалась, тухлятиной кормили. А здесь, конечно, для них новые горизонты и надежды открываются. Да только насчет Америки у них пересол получился. Уж чего-чего они только от нее не ждут ! А в Америке встречают их добродушием, теплым словом, помогают с одеженкой, работкой на фабрике. Дают гарантию насчет свободы, покоя, да вот и все вам с кисточкой ! Ясно, что у новоприбывших появляется, как бы, разочарования, недовольство ... Скулят, даже происходят междуусобицы с ругательскими выражениями, например, этакий фактик: на одном из последних транспортов, приехал один руссачек четыре года в немецком концлагере всякую гнусь переносил. Чудом в живых остался и здесь, вот размяк, возьми да и ляпни: что, дескать, мне Америка нравится ! Да, может ему в самом деле нравится ходить и думать без надзора и битья по зубам. А его сотоварищи сразу и затюкали, что он мол, такой-сякой, сукин сын, преда-

тельский элемент, продавший свою совесть чудовищной, кровососной стране. И что стоит ему только протереть очки, как он увидит голую действительность.

Тут один из негодующих рассказал про себя: не успел это он с парохода сойти, как его какой то, пес его знает, старорежимный интеллигент сманил к себе на работу механиком, за какие-то 65 долларов в неделю и дал ему, как мелкий характер, в пользование автомобилишко 1939 года, когда под носом другие демонстративно разъезжают в последних моделях...

А одна девица, артисточка, тоже публично выставила свою занозу: она, можно сказать, в лагере на подмостках выступала, ей даже хлопали. А здесь пришлось на фабрике конфетные коробочки баржуазными бантиками перевязывать. И что все это враки, что в Америке на каждой уличной скамейке сидит миллионер с готовым контрактом в „Холивуд". И если она до пятницы такого не встретит, то она обязательно ковырнет себя кухонным ножем и зарежется, или будет проситься обратно в Советский Союз.

Артисточку мне эту очень жаль, и желаю, чтоб нашелся ей такой болван.

Кстати, о болванах! Давеча встретил я Васеньку Зайцева. Тот самый, что в русском ресторане уже 30 лет работает и чудно было увидеть его при дневном свете. Показался он мне как бы поздоровевшим, пополневшим. У него же всегда было что то неказистое с легкими, при мне харкал кровью.

Оказалось, что он вовсе и не разжирел. А это в его карманах и за пазухой были напиханы пакеты с полезными вещами для семьи.

— Какой семьи? Неужели женились? спросил я. А он говорит: — Нет, я шесть человек из Германии выписал: старшего брата, его жену, ее папеньку и маменьку, пятнадцатилетнию племянницу и кота.

Наслышались они, значит, о чудесах американской

техники, о всяких приспособлениях для облегчения хозяйской собачьей жизни и захотели, чтоб он, дескать, достал им всякой всячины. Вот он и несет сейчас, — жене брата, герметическую кастрюлю в которой любая безголовая курица в 18 минут готова. Брату — электрическую бритву, чтобы каждый день на американца быть похожим, старухе — слуховой аппарат, чтобы все сплетни слышать, старику — электрическую, грелку от прострела, племяннице утюжек для новых туалетиков, а для кота преновейшее изобретение, такая штука с будильником: поставить это стрелку на определенный час, когда ему шамать полагается и все могут маху давать из дому, шлендрать хоть до ночи. А „изобретение" свое дело знает! Вот час нужный приходит, будильничек звяк! С этим дверце подымается и сукин кот может жрать свою печенку. Но не всю. Крышка успевает захлопнуться и кот, конечно, как сумашедший летит к чертовой матери. А через три часа опять звяк! — Пожалуйте кушать остатную печенку. И получается, что все довольны, нашлялись по городу и кот с голоду не подох.

Тут я заметил по дружески: — Васенька, да ведь, небось, приезд такой оравы влетит вам в копеечку. А вы еще развернулись на такие подарки... А он говорит; — ничего, уж очень не хочется мне разочаровывать их насчет нашей Америки. И хозяин обещал мне прибавить работку. По ночам, отработаю... Сейчас вот бегу за курицей, чтобы доказать, что она, в самом деле превратиться в вареную тряпку за 18 минут.

И Васенька счастливый побежал дальше, да только я заметил, что он на ходу за грудку хватанулся, закашлялся нехорошо... Так что я лучше перейду на другое, более веселенькое тебе рассказать:

У нас недалеко от города есть дачная местность с водицей, пляжем, все как полагается. Туда много русских едут для отдыха. И вот совсем недавно, одна ма-

ленькая девчонка, ручками, ножками в воде хлюпала и вдруг тяп, что-то схватила, зажала в кулачек и визжит от удовольствия. Ее мамаша с берега кричит: — Брось! брось, детка! Не все, то, игрушка, что в воде плавает!.. а маленькая лахудра штучку не выпускает, хоть ее тресни и эток ангельским голоском объявляет: „Я золото нашла!”... Тут, конечно, не только сознательная маменька, все голыши бегут к ней, любовно ей кулачек разжимают, аж ребеночек весь посинел.

Оказалось, факт на лицо. На мокрой ладошке лежит кусочек, солнце на него бьет и он золотом отдает. А тут еще во всех газетах символично объявляется про столетие золотой лихорадки в Калифорнии. Да, что там столетняя лихорадка, когда своя под носом началась. Уже сентябрь месяц на ходу, холод собачий, а дачники дни и ночи по берегу топчутся, песок роют, в воду бросаются, пихаются черти, тонут... Да только вся эта суматоха оказалась напрасной. Один счастливец, его чуть не разодрали, нашел другой золотой кусочек, сходный с первым, а вместе оказалась круглая пуговица. Нашелся и ее владелец, спохватился, что именно одной такой пуговицы меньше стало на его спортивной куртке.

После этого дачники стали разъезжаться, да все же неохотно, некоторые потихоньку возвращаются обратно, в шубах.

В заключение хочу еще сообщить тебе, что у нас новая газетка завелась. Бумага немного лучше оберточной и хоть на ней напечатано русскими буквами, направление еловое... Всего только номерок, другой вышел, а уж кроет всех на чем свет стоит и демократию чешет, которая ее же, гадюку, пригрела. Нас русских эмигрантов призывает к объединению для борьбы с Кремлем! и такое будущее обещает... дайте, дескать, нам только с вашей помощью окрепнуть.

Конечно, оно соблазнительно от советчиков родину

освободить, засиделись они там черти ! . . Да кем заменить то ?

За сороколетнюю жизнь в демократической стране, мы, видимо, осели и не по душе нам эта ересь . . . Так, что, мерекаю я, судьбишка газетки недолга, пошипит, пошипит, как капля воды на горячей сковородке, да и испарится. Тудыть ее !

Вот и все пока. Остаюсь твой верный друг, X.

ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ

— Вы — русский? — Этот вопрос был задан мне неожиданно, я стоял около 12 часов дня на одной из центральных улиц Нью Иорка и просматривал русскую газету.

— Да. — ответил я, почему то смутившись, словно был пойман в чем то. Да и кому какое дело до моей личности? Но невольно я вежливо улыбнулся: передо мной стояли господин и дама. Оба прилично, скромно одетые по дорожному, с видом усталым, слегка растерянным и каким-то не нью-иоркским.

— Откуда вы узнали, что я русский? — спросил я господина.

— Вы читали рускую газету, — ответил он с улыбкой. Я мысленно согласился, что это было довольно явным доказательством, и опять, как бы уличенный в чем-то, быстро сунул газету в карман.

— Вы живете в этом доме, № 42 — снова спросил меня незнакомец. Я отрицательно покачал головой и объяснил ему, что только остановился здесь, чтобы просмотреть газету, траурные объявления.

— Знаете, всегда волнующе тянет узнать, не потерял ли кого нибудь из знакомых... — сказал я ему уже по приятельски.

— Вам надо было бы пожить во Франции, там сейчас, кроме этих объявлений ничего нет... — ответил он со вздохом.

— Вы из Франции? — заинтересовался я и тут же посмотрел на его спутницу. Она еще не произнесла ни слова, только все кивала головой. На мой вопрос она опять кивнула, а он заговорил живее:

— Не только из Франции, но прямо с парохода. Нас с женой должен был встретить сын на пристани, но мы его там не нашли, и решили приехать на его квартиру. Он живет в этом доме, 42, на 6-м этаже, „Сикс-Бэ". Наш сын артист, танцор. Грегори Гори, может быть слыхали? Его жена американка, тоже балерина. Возможно, что они сейчас танцуют, а нам что делать? Мы кое как объяснили наше положение „консьержу", но он ни за что не хочет открывать квартиру сына. Вот я и решился заговорить с вами, попросить вас помочь нам. Куда же мне с женой деваться сейчас? Где ждать? А, что если у них гастроли по Америке?! — Господин волновался, вытирал пот с лица и лысины, а жена его кивала головой.

Я понял их печальное положение и согласился помочь. Немедленно пошел в дом, нашел управляющего. Он оказался несимпатичной личностью, стал мне угрожать полицией за требование открыть чужую квартиру. Моя неудача совсем расстроила родителей танцора, несчастный отец заговорил в панике:

— Что же делать? что же делать? Остановиться в отеле? но ведь теперь в Нью Иорке безумные цены! Я до сих пор не могу прийти в себя, что на пристани дал „на чай" носильщику два доллара. Посчитайте это на франки? а он хоть бы что!.. Два американских доллара!

Я согласился с ним, что в Нью Иорке высокие цены; да и комнату трудно найти. Мне искренно стало жалко пожилых людей, сделавших такое далекое путешествие и предложил им зайти ко мне, на часок — другой, пока вернутся их дети.

Господин с радостью принял мое приглашение и его жена закивала мне, как бы в знак согласия. Тут мой новый приятель пояснил, что у его жены, после всего пережитого в Париже, сделался нервный тик головы, она

также заикается и плохо слышит. Крепко пожимая мою руку, он весело добавил:

— Ах, но какая удача, в многомиллионном Нью Йорке встретить своего русского ! Разрешите представиться — Шмит, Осип Шмит. —

К вечеру мои гости заметно устали, изрядно устал и я. Мне пришлось несколько раз звонить по телефону в квартиру их сына, но все безуспешно. И пока мадам Шмит сидела в кресле, кивая головой, ее супруг ходил по комнате, садился, опять нервно вскакивал, вздыхал и жаловался на судьбу:

— Единственный сын ... и тот танцор ! ... я так мечтал, чтобы он был у меня человеком, мужчиной, каким нибудь мастером золотых дел или даже портным, тогда бы он сидел на месте. А теперь, что вы скажете ? родители бежали от голода, смерти, а он танцует. Оба танцуют ! ! — Вдруг, остановившись передо мной, он заговорил радостней:

— Все равно, очутиться в Америке — это счастье ! чудо для несчастного эмигранта. Когда то моя фамилия была в России значительной. Кто не знал фабриканта готового платья Осипа Шмита ? ! А супруга моя дочь богатых московских купцов. Но все это в прошлом ... все ... все ... Во Франции вы особенно это чувствуете. Там вы только — „ апатрид " — звучит, как паразит, блоха ! А на этом разве можно строить жизнь, положение ? Но здесь, в Америке, когда я получу полноправное гражданство я переменю свою фамилию Шмит на Смит, и стану родственником вашего покойного губернатора ! Что вы на это скажете ?

— Имеете полное право, — улыбнулся я.

— Может быть мне взять и его имя — Ал ?

— Все разрешается, лишь бы быть честным гражданином, — заметил я.

— А какой смысл быть не честным, когда здесь

все разрешается ! ? воскликнул он и продолжал восторженно:

— Какая страна ! Какие можно развить дела, состояние ... из блохи — апатрида стать родственником Нью Иоркского губернатора ! — И он опять зашагал по комнате.

Я воспользовался его молчанием и снова позвонил на квартиру Грегори Гори. Ответа не было. Г-жа Шмит начинала засыпать и, понимая, что визит моих друзей грозит ночевкой, я забеспокоился, спросил:

— А где же ваши вещи ? ваш багаж. Сдали на хранение ?

Мой вопрос поразил г-на Шмита. Он остановился, как вкопанный, жена открыла глаза и оба они воскликнули в один голос:

— Мамаша ! !

На мой непонимающий взгляд, г-н Шмит начал быстро взволнованно объяснять:

— Мы совсем забыли, мы оставили наши вещи на пристани с бабушкой, мамашей моей жены. Не могли же мы ее тащить с собою, когда сами ничего не знали ...

— Как ... все это время ? ... — дрогнул мой голос.

Но, г-н Шмит, не слушая меня, продолжал говорить. В его голосе появилось раздражение, глаза стали метать искры в сторону супруги, кивавшей ему в ответ головой.

— Это все она виновата ! Незадолго до войны выписала свою мамашу из Сов. Союза в Париж, а теперь, конечно, пришлось брать ее с собой в Америку ! Я уже старик, моя жена не ягодка, а сколько, вы думаете, лет ее мамаше ? Девяносто ! ! Языков она не знает, свой путает. И если моя жена глухая, то, вы думаете, ее мамаша слышит ? Она и видит то еле-еле ... И вот, этакий груз нужно было привесить мне на шею !

— Но помилуйте ... — опять дрогнул мой голос.

— Помилуйте меня ! — расходился г-н Шмит.

— Я еще не родственник губернатора, мне может быть самому придется на улице ночевать, пока сын танцует...

— Я думаю, что вашей бабушке не разрешат так долго находиться на пристани, а объяснить она не может, — вставил я деликатно.

Г-н Шмит согласился с тяжелым вздохом, и мы решили ехать за ней.

Если мысленно я жалел старушку, оставленную в полном одиночестве, то, увидев ее, я содрогнулся. В углу громадного, пустого, едва освещенного зала, среди сваленного багажа, притаилось какое-то крохотное существо, — сухонькая старушка, которая прижимала к себе большой мешок. Она смотрела, как навострившаяся мышка. Вблизи стояли два человека в форме служащих, видимо озадаченные ее долгим пребыванием. Их вид пугал старушку, заставлял жаться к мешку, как к чему-то единственно близкому. При виде нас она всполошилась, улыбка появилась на ее маленьком, сморщенном лице.

— Вот полюбуйтесь! На ладан дышит... шепнул мне г-н Шмит и добавил:

— 600 долларов пришлось истратить на нее! Переведите-ка на франки, волосы дыбом станут. А что с нее толку? Кто здесь за нее пятачек даст? Куда мы ее теперь денем?

Я не нашел, что сказать, кроме, как предложить перевезти вещи и бабушку ко мне, уверяя, что это не стеснит, я могу легко устроиться ночевать у своего товарища. Но г-н Шмит, вдруг, поразил меня своим просиявшим видом. Он стал жать мою руку, говоря, что он с супругой, пожалуй, воспользуется моим гостеприимством, но для мамаши у него явился неожиданный гениальный план. Он начал объяснять, что жена его сына, американка, родом из Оклахома Сити. Ее родители имеют там собственный дом. Адрес их у него есть, он сейчас же, с моей помощью, отвезет старуху на вокзал и, с первым

поездом, пошлет туда. А американцев уведомит телеграммой: „ принимайте-мол родную бабулю ".

— Не думаете ли вы, что это далековато ? — заикнулся я и добавил:

— Вы бы покормили бабушку.

Но мое беспокойство было напрасно. Старушка, почувствовав себя окруженной своими уже жевала какую-то булочку. Глядя на нее, у меня сжималось сердце и хотелось переубедить г-на Шмита насчет Оклахомы. Но я понимал, что это было бы бесполезно. Придуманный выход его совершенно преобразил. Его жена приняла новость спокойно, сознавая, вероятно, что пора разделаться с мамашей. Она поцеловала мать довольно равнодушно и с вещами уехала ко мне на квартиру. А я с ним и со старушкой двинулись на вокзал. Там, вскоре, удалось усадить ее в поезд, который должен был доставить ее к новому и неведомому пристанищу.

По выходе из вокзала г-н Шмит казался помолодевшим, точно в самом деле снял с себя тяжелый груз. Но мне было очень грустно. Все мерещилась старушка со своим свертком вещей, глядящая на нас долгим, прощальным и таким, все понимающим взглядом. Мне и во сне продолжала мерещиться она, когда я спал на своей собственной кровати.

По возвращении домой, мне удалось услышать по телефону голос Грегори Гори, наконец, очутившегося дома и ждущего своих родителей с распростертыми объятиями.

* * *

ЛЕТА И ЛЕТО

В Коннектикуте, на дачке Значковых, справляли день рождения хозяйки Нины Павловны. После внезапно и быстро пронесшейся грозы с дождем, чай пили на веранде. В приятно охладившемся воздухе оживились голоса, разговоры.

Инженер Андрей Иванович Станков, после третьей чашки душистого чая, с особенным подъемом увлек всех темой о „современном долголетии и молодости". Тема была уже тем увлекательной, что среди присутствующих не было молодежи. Матери хозяйки — Глафире Семеновне, как все знали, перевалило за восемьдесят. О годах ее дочери не упоминалось. А на праздничном торте красовались двадцать пять свечей. Вряд ли бы вместилось сколько полагалось . . .

Сама Нина Павловна, не без некоторого сохранившегося в ней юного смущения, объяснила друзьям, что в доме только и нашлись эти „двадцать пять свечечек"... Вот тут то и загорелся Андрей Иванович со своей теорией, что, по новейшим исследованиям и статистике, человеческая жизнь на много удлинилась и с этим изменилось понятие о возрасте.

— Раньше человек в сорок лет считался пожилым, — увлеченно говорил он. — А теперь, достигая столетнего возраста, а то и больше, он находится еще в расцвете лет ! Я, в мои шестьдесять годков могу считаться мужчиной средних лет. Короче говоря, жизнь — впереди ! — рассмеялся он.

К его словам отнеслись со вниманием.

Глафира Семеновна повернулась к своему соседу, старичку — Акиму Мартыновичу, ласково сказала:

— Тебе, поди, самому скоро век стукнет.

— О, нет, голубушка ! До такого сраму я не доживу. — Весело ответил он, глоточками отпивая домашнюю вишневку.

— А ведь все это поразительно верно ! — воскликнула крупная дама, блондинка, Ольга Михайловна Овечкина. — Теперь все чаще читаешь о таких случаях: на Кавказе по сей день живет женщина, которой уже стошестдесят лет ! Кстати интересный факт, она совершенно безграмотная !

Ну, если это причина долголетия, то сколько бы было безсмертных ! . . . — смеясь заметил Аким Мартынович, стараясь не пропустить ни одного словечка.

— А вы читали про брак в Турции ? — остановилась у стола Нина Павловна, разнося чашечки чая. — Ему сто-пятнадцать, а ей — пятьдесят !

Это уж слишком ! жениться на девченке . . . сострил инженер.

— Совершенно правильно, — просияла Ольга Михайловна, — как часто я себя чувствую девчонкой. А ведь мне недалеко до пятидесяти. Сидевший около нее супруг, господин Овечкин, слегка поперхнулся вареньем.

— Душечка, — посмотрел он на жену, — ведь недавно мы все справляли сорокалетний юбилей нашей свадьбы. Что же, я женился когда тебе было девять лет ?

Пусть было девятнадцать. Не велика разница, — вспыхнула она.

— И ведь это вы, Оленька, вторым браком, слава Богу прожили сорок лет вместе, — раздался из за самовара ласковый голос Глафиры Семеновны, — а сколько длился первый ? . .

— Вот видите, господа ! . . . как то удачно перебил Андрей Иванович. — Какой пример ! Два брака, а Ольга Михайловна все еще цветет, как августовская роза !

Госпожа Овечкина снова просияла.

— Я, конечно, должна похвалиться судьбой, — ска-

зала она. — Я никогда в жизни не знала больниц. Даже сына родила на любительском спектакле, а дочь — на балу.

— Сорок лет — бабий век, — говорили у нас, — буркнул господин Овечкин. Он, пожалуй, только один не разделял общего энтузиазма по поводу „ удлинения молодости ”, сам страдал подагрой и астмой.

— Нет, уж это, пожалуйста ! .. раздраженно посмотрела на мужа Ольга Михайловна. — „ Говорили у нас ! ” — передразнила она его. — Великий Бальзак считал сорокалетнюю женщину опасной, а почему ? Потому что она только начинала понимать жизнь, гореть !

— Дайте мне за рубль, за двадцать, женщину с огнем ! ... запел Аким Мартынович, но сразу остановился. А на лице инженера показалась серьезность.

— Бальзаковские времена также изменились, — произнес он. Опасный возраст его уже 30-ти летней женщины считался ее второй молодостью. Она старела наружно, а ее внутренний мир продолжался. В этом была ее драма. Тогда женщина считалась рабыней, наложницей ... Современный социальный сдвиг изменил ее положение, жизнь. Дал новые интересы, стремления. Кто-то хорошо сказал: „ Молодость это не период жизни, а состояние души, настроение воли, воображение, идеалы и энтузиазм ! ” Особенно такую женщину замечаешь в Америке. Она, можно сказать, становится бабушкой, а продолжает играть видную роль в обществе, занимать ответственное положение и выглядит поразительно молодо.

— С этим я согласен, — неожиданно оживился господин Овечкин. — Могу судить по моей практике — шофера такси. В нашей крупной компании никогда не было такой нехватки машин, как теперь. И ведь это из за бабушек. Сколько их носится по городу целыми группами на всякие собрания, клубы, парти, еще подпрыгивают.

Все рассмеялись.

Господин Овечкин встал, заметив, что пора по домам. Им далеко ехать, а небо нечистое, не захватила бы гроза. Стали прощаться. Задержались только Андрей Иванович и Аким Мартынович. Инженер с удовольствием вдохнул в себя ароматный воздух несшийся из садика. Предложил Нине Павловне немного погулять. Она согласилась. На дорожке, видимо все еще находясь под впечатлением „статистики", она кокетливо поправила прядь своих седеющих волос и сказала: — Значит, не так уж смешно выглядели мои двадцать пять свечечек?

— Точь-в-точь! — улыбнулся он и прижал ее локоть к себе. Он давно знал Нину Павловну по службе, как отличную чертежницу и малообщительную особу. Кое что слыхал о ее недолгом неудачном браке, закончившимся разводом.

Но в этот летний день, в домашней обстановке, ничто не напоминало ту Нину Павловну — чертежницу. Даже кисейная блузочка меняла ее до неузнаваемости, делала ближе... роднее.

Они загулялись. Стал накрапывать дождик. Старичек Аким Мартынович застрял со своей рюмочкой вишневки; как бы невзначай посмотрел на парочку в саду и умиленно с пьяненькой улыбкой протянул:

— Эх, молодость!...

* * *

ДЕНЬ МАТЕРИ

Праздничные дни не много отличались от будничных для Софьи Ивановны Комаровой. Только и успеет помолиться, а после, как всегда, работы у нее было много. Пока муж и сыновья отсыпались вдоволь, она успевала убрать квартиру, кое что сготовить и обязательно спечь какой нибудь сладкий крендель или пирог.

Так началось это воскресенье: с девяти часов утра в ее кухне запахло сдобными булочками и сладким печеньем. С особенным стараньем Софья Ивановна накрыла стол для завтрака, поставила вазочку с цветами. Но сама была как — не своя ... В это утро, первым долгом, она вышла из квартиры, чтобы посмотреть в почтовый ящик. Д о л г у ю минуту смотрела в его пустоту, словно не верила, что в нем ничего нет. И тут в ней произошла перемена, как рукой сняло всю теплоту и оживленность с ее лица.

Соседка — полька тоже очутилась около своего ящичка, вынула пачку писем, посмотрела на Софью Ивановну с улыбкой сказала:

— Не огорчайтесь, милая ... —

Софья Ивановна смутилась, покраснела, будто хотела воскликнуть:

— Какая же почта в воскресенье ? Но она еще больше растерялась и поспешила к себе. Все это, собственно, и произошло из-за соседки — польки, из старых эмигранток. Она постоянно беседовала с Софьей Ивановной, рассказывала ей, как новоприбывшей — об Америке. Недавно рассказала о приближающемся — „Дне Матери", когда каждое любящее сердце должно вспомнить свою мать, отметить ее день хорошенькой поздравительной

карточкой (которую сами подкладывают в ящик). А также делают подарки.

Когда в почтовом ящике ничего не оказалось, у Софьи Ивановны это неожиданно тяжело отозвалось в душе. Никогда раньше она не знала о таком особом „ дне матери ”, и никогда раньше ее не тревожила мысль:

— Внимательны ли к ней ее дети? два сына и дочь . . .

Софья Ивановна могла бы и в Америке не задумываться над таким вопросом. Она считала себя счастливой матерью. Вся ее семья была вместе. И после последних испытаний в Югославии, нашла убежище в новой стране. Дочь Оксана хорошо вышла замуж за американца, муж и сыновья служили на фабрике.

В своих, неожиданно — встревоженных чувствах, Софья Ивановна находила оправдание своим детям. Они и двух лет не живут в Америке, откуда же им знать все здешние обычаи? К тому же у них нет времени думать о подарках для матери, когда вовсе и не день ее именин. Казалось бы смешным! Однако, какие бы успокоительные мысли не приходили ей в голову, все глубже задевала обида, все страшнее становилось от мысли, что „ дети ее давно не любят ” . . . Сыновья заняты своей молодой жизнью, дочь совсем ушла к американцам . . .

„ А мать своего мужа, она, конечно, не только поздравила, но и едет к ней на обед ” . . . пронзила ее снова горькая мысль.

Глаза Софьи Ивановны наполнились слезами. Она невольно вспомнила все годы, прожитые с семьей: ее вечные заботы, лишения ради мужа и детей. Она вздрогнула, из спален послышались голоса. Софья Ивановна всеми силами подбодрилась, чтобы не выдать своих чувств. По привычке прислушалась и к комнате их жильца, — Федотова, Ди-Пи из Советского Союза. Подумала о нем:

„Хорошо бы пригласить в такой день его к обеду. Ведь и у него была когда то мать" ...

От комнаты квартиранта веяло тишиной и она тут же добавила себе:

„Тоже, о ком я забочусь. Да разве у "этих" сохранились понятия и чувства к матерям ... Партия была дороже" ...

Слезы снова набежали на ее глаза, вытирая их кончиком фартука, она засуетилась у плиты.

Голоса мужа и сыновей доносились громче. Как всегда, послышались споры на политические темы и обычные крики на всю квартиру:

— Мама, где моя рубашка? Дай чистые носки!..

Никогда это не задевало Софью Ивановну обидой, как сейчас.

„Хоть бы подумали со мной кофе выпить ... а то, только и нужна я им, как прислуга" ...

Степан Васильевич Комаров с сыновьями шумно вошли в кухню и сразу набросились на вкусный завтрак. Их спор продолжался на тему о капитализме; отец доказывал пользу американских капиталов, а сыновья, если и соглашались с ним в душе, по модному настаивали о разрушительном влиянии капиталов и капиталистов ...

Софья Ивановна подавала кофе, булочки и ее руки дрожали. На нее не оборачивались ни сыновья, ни муж, занятые чужими капиталами. Ее материнские глаза невольно подмечали, как хорошо выглядел ее старший сын, 25 летний Андрей, как возмужал 19 летний Михаил, да и сам Степан Васильевич за последнее время поправился, зарумянился ...

В кухню вошел Федотов. Немного мрачный, ни на кого не глядя, он как то уклончиво поздоровался, вскипятил немного воды в чайнике и ушел обратно к себе, что делал каждый день. Софья Ивановна посмотрела ему вслед; ей казалось, что она теперь лучше понимает этих людей — „оттуда" ...

„ Твердокаменные ... бездушные " ...

В ней поднималось раздражение на всех. Хотелось сказать:

— А вы знаете, кого вся Америка сегодня чествует ?

Но натура Софьи Ивановны была не та, чтобы открыто раскричаться или расплакаться. Ее муж и сыновья встали из за стола, как бы невзначай бросили:

— Спасибо мом. — И сразу заторопились куда то из дому. Это уже было слишком ! Но и тут Софья Ивановна сдержалась, оставаясь у плиты. Она не помнила такого воскресенья, чтобы ее оставили одну. Как мать, она могла понять сыновей; Андрей сказал, что ему надо с кем то встретиться, Михаил обещал товарищу прийти в биллиардную. Но Степан Васильевич почему то сам сорвался с места, объясняя, что у него есть очень важное дело к соседу. Какое дело ? ! .. У Софьи Ивановны дрогнуло сердце. Она не даром заметила перемену в муже. И приоделся он что то ... Самые жестокие подозрения заволокли ее голову. Она почувствовала себя не только забытой матерью, но и обманутой женой ...

Хлопнула входная дверь, Софья Ивановна поняла, что последним из дому ушел Федотов. Она оставила посуду немытой, сорвала передник и также решила уйти ... куда глаза глядят ... Телефонный звонок остановил ее. Веселый голосок ее дочери Оксаны говорил:

— Мама, мы собираемся к тебе, принимаешь ?

От радости Софья Ивановна только и могла произнести:

— Как же ... как же ...

Она бросилась в кухню. Желание устроить пышный обед для дочери и ее мужа, прогнали все черные тучки с ее души. С быстротой все принимало веселый вид. Вкуснее запахли пирожки. На звонок в дверях, Софья Ивановна побежала с распростертыми объятиями. Не-

смотря на то, что ее дочь жила вблизи, она не видела ее несколько недель.

Но в дверях стоял Степан Васильевич, а за ним показались сыновья, словно они и не расставались. Вид у всех был странный и вошли они, как бы не к себе, бочком обходя мать и направились в гостинную. Софья Ивановна испуганно пошла за ними. Все трое стояли, как гости, а перед ними очутилась большая коробка.

— Это от нас... мама, тебе... — произнес тихо Андрей.

— Такой праздник в Америке — как бы извинился Михаил.

— У соседа несколько дней прятали, — сказал Степан Васильевич, и подойдя к жене, поцеловал ее. Сыновья последовали его примеру. Взволнованная Софья Ивановна смотрела на них, на пакет. Стала его раскрывать. Оказалась прелестная корзиночка, обитая шелком со всеми принадлежностями для шитья.

— Ну, зачем это вы?.. Ведь я не именинница, — говорила она слабым голосом.

О святой Софии уже вспоминали за обеденным столом.

— Все равно, за веру, надежду, любовь и мамочку Софью! — шутливо провозглашал тост — Степан Васильевич.

Софья Ивановна сидела в центре стола; перед ней были нарядные подарки: духи и брошка от дочери и ее мужа Джона. Корзиночка для шитья. К концу обеда вернулся Федотов. Хозяин предложил пригласить его к столу. Софья Ивановна запротестовала. Неожиданно, квартирант сам вошел к ним. Чуть сутулой походкой подошел к Софье Ивановне, протянул ей маленький сверток, конфузливо произнес:

— Вот, Софья Ивановна, примите от меня скромный подарок в память моей матери, оставшейся в России...

У всех на лицах пробежала тень. Сошли улыбки.

Только американец (не понял ничего), поднял бокал, воскликнул: „ Хуррей ” ! .. Софья Ивановна опустила голову и крепко сжала подарок Федотова. Его стали угощать, а молодежь уже строила планы, как закончить „ мамин ” праздник.

— Идем в кино ! — предложила Оксана.

Софья Ивановна обрадовалась. Она любила театры, а пойти всей семьей, ей представилось особенным удовольствием.

Пошли все. Даже Федотов. На улице стали решать — какую картину посмотреть ? Вблизи находилось три кинематографа с разными программами. Степан Васильевич советовал посмотреть картину „ с ковбоями ”. Софья Ивановна тихо заметила:

—Я хотела бы посмотреть, что нибудь романтическое с музыкой ...

Сыновья воскликнули:

— Кому это интересно, мама ! ? .. Они предложили замечательный фильм с бандитами.

— С бандитами ! с бандитами ! .. — раздались голоса.

Софья Ивановна почти всю картину проспала, лишь изредка пугливо открывала глаза из-за выстрелов, душераздирающих криков. —

Но где то в глубине души, — чувство счастливой матери, как никогда еще согревали ее. Она была даже рада, что пошла именно на „ бандитскую картину ”, которая доставляла столько удовольствия ее детям ...

НОВЫЙ ГОРОД

С приближением долгожданного отъезда из Германии, Вера Антоновна Буткевич в слезах давала обещание своему мужу, Федору Степановичу, что в Америке ее нервы успокоятся, и она станет совершенно другим человеком, — „вот он увидит!” . . .

Но своего обещания она не сдержала. В Нью Иорке ее нервы совсем распустились. Нового города она боялась до ужаса. Кто-то посоветовал ей для быстрого изучения английского языка, ежедневно просматривать популярную нью-иоркскую газету, в которой множество фотографий: убийств, насилий, грабежей. Снимки без слов понятны: на полу труп с ножем в животе, задушенная красавица, тут же ее любовник схваченный полицей, взломщики сейфа, пожар... Постепенно запоминаются слова, и весь урок всего за пять центов в день! Вера Антоновна пришла к заключению, что просмотр такой газеты, в самом деле приносит ей пользу в английском языке, только после урока на нее нападал панический страх — в какой ужасный город они попали!...

Федор Степанович, по возвращению со службы, выслушивал все кровавые события, должен был смотреть на фотографии, Вера Антоновна вскрикивала: — Посмотри, какие молодые! Я, вот только не понимаю, они целуются, до того как их убили или после?...

Муж старался успокоить жену, говорил ей, что в каждом городе случаются преступления, а в многомиллионном Нью-Иорке и подавно. Американцы же, как честный народ, ничего от публики не скрывают; то, что пожалуй в другой стране рады притушить, здесь вы-

ставляют наружу, даже своего начальника, если он оказался жуликом...

Но успокоить Веру Антоновну было трудно. Она ложилась спать со страхом, перекрестив все углы, а проснувшись, часто вскрикивала: — Где мы ? Кто здесь ? Ах, это ты, Федя, куда ты идешь ?...

— Мы находимся в нашей квартире, на 141 улице, а ухожу я на службу, — отвечал Федор Степанович. В его голосе слышалось сдержанное раздражение.

С приездом в Америку, он, конечно, не надеялся, что его жена станет другим человеком, вернее другой женщиной. Мечты его так далеко не заходили. Да вряд-ли бы он пожелал другой жены. За тридцать лет жизни со своей Верочкой, он привык к ее женским слабостям, даже нервам. Прощал ей многое, из-за создавшихся неудобств, особенно в последние годы их лагерной жизни, которая мучительна вместе, но и крепче связывает любящие сердца.

Однако, нервы Веры Антоновны начали выводить его из себя. Судьба послала им благополучие и удачи: у него была служба по специальности, они обзавелись квартирой в три комнаты с кухней и ванной. К ним забегали добрые друзья, к себе приглашали в гости, поиграть в карты. Вот тут то вспыхивали бурные сцены с Верой Антоновной. Она карт не любила, идти с мужем не хотела, „терять время", а дома оставаться одной боялась, насмотревшись городской газетки. Еще страшней ей казалось пойти гулять по улице: каких только подозрительных людей не встретишь !... Пугали ее негры, китайцы еще какие-то непонятные типы: низкорослые, обросшие волосами, а хвосты будто прячут...

Единственное место, куда она любила ходить, это был ближайший кино-театр. Но одна, она бы побоялась пойти. — „Еще сядет рядом какое-нибудь страшилище. А возвращаться одной по темной улице ? Не заметишь, как тебя разденут с ног до головы !...

Федор Степанович часто уступал жене, и вместо карт у товарища, шел с ней в синема. Но однажды он заявил, что после девяти часов вечера, обязательно пойдет к сослуживцу сразиться в бридж. Вера Антоновна пришла в ужас.

— Какие — такие карты, после девяти часов вечера ? —

— Потому что он поздно возвращается домой после работы! — вспылил Федор Степанович, и добавил: — Да ,что это я, в плену живу ? — в порядочных домах прислуга имеет свой выходной день, а я и такого не имею ! . . .

Вера Антоновна нервно рассмеялась: — Ха, если бывало прислуга уходит, то к какой-нибудь тетке или к матери, а откуда я знаю, куда ты идешь в такой час ? —

— Тоже к матери ! — крикнул вне себя Федор Степанович.

— У тебя нет такой ! — — Найдется ! . . .

К девяти часам вечера, они все-же примирились. Федор Степанович обещал вернуться не поздно, а Вера Антоновна рискнула пойти в кино. Он отговаривал ее потому, что она не привыкла ходить одна по вечерам, потеряет что-нибудь, и погода скверная, холодная. Вера Антоновна настояла на своем. Она оделась тепло, даже натянула зимние бархатные ботики. На прощание уже говорила с улыбкой:

— Не беспокойся, не такая уж я слабая и растереха. —

В театр она пришла к концу главной картины, и желая видеть все сначала, прошла в дамскую комнату, чтобы проверить свой вес, — " не прибавила ли она опять ? " Перед весами она сняла свои ботики, подумав, что они одни весят фунта три. Своим весом Вера Антоновна осталась довольной, она ничуть не пополнела, несмотря на вкусные булочки, в которых она себе не отказывала. И только она подумала о булочках, как до нее

донеслась громкая музыка, обозначавшая конец фильма. Она быстро понеслась в зал; там просидела долго, смотрела на экран, все как-то сливалось для нее в одно, не совсем понятное, шумное и тревожное представление. Она вздрагивала от выстрелов, от лиц актеров, а в душу опять закрадывался страх и подозрения: „не случилось ли чего дома? еще ворвались разбойники в масках, а у Феди нет револьвера"...

Она с нетерпением ждала конца мучительного сеанса. Но прошло около четырех часов, пока она вышла на улицу. Погода ухудшилась, шел дождь. Вера Антоновна спохватилась: на ней не было ее ботиков, она забыла их в дамской комнате. Она бросилась обратно в театр, почти уверенная, что не увидит своих калошек, и не ошиблась, она не нашла их подле весов. Вера Антоновна поплелась домой с горечью вспоминая предостережения мужа. Но разве это была ее вина? Она насчитала несколько негритянок в театре...

Дождь хлынул сильней. Вера Антоновна решила переждать ливень подле какого-то парадного. Там она простояла несколько минут и опять поспешила к дому, вдруг, заметила, что при ней не было ее сумки, она видимо уронила ее у парадного. Она рванулась к тому же месту, но сумки не нашла, и невольно усмехнулась про себя: „Столько людей прошло из театра, кто из них не подберет ее довольно хорошей кожаной сумки?"

Она с ужасом вспомнила, что в ней оставалась расписка от белья. Теперь, прачешник-китаец, никогда не вернет ей простынь и рубах мужа. В полном отчаянии Вера Антоновна подходила к дому. Поднявшийся ветер затруднял ей шаги, а на последнем углу, ее с силой закрутило, сорвалась шляпа, она хотела ее поймать, но шляпка совсем непонятным образом пропала. Она минут двадцать ее искала, и решила, что это не ветер ее сорвал, а чья-то рука. Шляпа была новая, модная.

Вера Антоновна уже открыто плакала, ее в самом

деле раздели „ с ног до головы" . . . Она решила скрыть все от мужа, была рада, что он еще не вернулся домой. А на утро, после его ухода на службу, она поспешила в прачешную, чтобы как-нибудь спасти свое белье.

Хозяин — китаец встретил ее с улыбкой; она стала объяснять ему о пропаже своей сумки, квитанции, грозила полицией, если он не отдаст белья. Китаец был невозмутим, он с улыбкой ушел за дверь и вернулся с ее сумкой, что-то объясняя на ломанном английском языке. Вера Антоновна поняла, что ее сумку нашел какой-то человек, и по бельевой квитанции принес в прачешную. В сумке все оказалось в сохранности, даже два доллара с мелочью.

Эта неожиданная находка ободрила ее, она понеслась в театр, спросить о своих ботиках, быть-может кто-нибудь украл, а потом вернул . . . В театре ее сразу направили в отдел потерянных вещей, там она получила свои сапожки. Повеселевшая Вера Антоновна, возвращалась домой. День был чудесный, солнечный, и проходя злосчастный угол, где вчера ночью с нее сорвали шляпу, она невольно оглянулась вокруг с мыслью: „ Может и ее найду" . . . Вдруг перед ней, как из под земли вырос огромного роста негр.

— Вы что-то потеряли ? — спросил он.

— Да, шляпу, вчера ночью . . . — произнесла она испуганно, растерянно.

— О, Боже, опять ! — воскликнул негр и добавил: — Это моя вина, госпожа, я джанитор этого дома, и все забываю закрывать окна подвала, а при сильном ветре, шляпы прохожих срываются и залетают в окна. Там уже шляп пятнадцать ! Посмотрите, которая ваша. —

Вернулась Вера Антоновна домой, счастливая, и не так от находки вещей, как от какой-то бодрости и успокоения в своей душе, думая о китайце, огромном негре и неизвестном человеке большого города — Нью-Иорка.

* * *

ГОЛУБАЯ СТУПЕНЬ

Солнце быстро скрывалось за Нью-Иоркскими небоскребами. В центральном парке становилось темно и холодно. Андрей Загонин, который долго, неподвижно сидел на скамье, вдруг встал, чуть ежась в своем старом пальто. Осмотрелся вокруг. Он знал, ему идти некуда...

В это утро он оставил свою комнату, как оставлял предыдущие, то ли не выдерживая шумных соседей, то ли из-за тоски, навалившейся на него чуть ли не с первой минуты прибытия в Нью-Иорк.

Этот город все более казался ему чудовищным обиталищем каких-то быстроногих бездушных существ.

Если бы Загонин опять дал волю своим беспросветным думам, не уйти бы ему из парка... Надвигался вечер. Он вспомнил, что ему надо забрать у знакомого свой чемодан. Подумал о Светлане... девушке, которую он знал еще по лагерю в Штутгарте. Она давно находилась в Америке, хлопотала о его визе через какую то церковную организацию, встретила его на пристани и дала несколько полезных адресов.

Почему то мысль о Светлане, о ее заботе все чаще вызывала в нем раздражение. Он и сейчас подумал:

„Если он поддался ее советам перенестись через океан, в прославленную Америку, то все, что он до сих пор видит и чувствует здесь, не вернет ему смысла жизни, давно для него потерянного"...

Трагедия русского человека, вырвавшегося из „Советского рая" и заблудившегося в джунглях современной эпохи, вечного страха, подозрений и ненависти, все еще подтачивала его силы, мозг. Все представлялось ему

в отталкивающем виде; когда он смотрел на мимо него несущуюся суетливо-кишащую жизнь, на людей с тупо-самодовольными лицами, на дома, своей громадой словно наваливающихся, давящих, у него только обострялись чувства собственной растерянности, раздавленности...

Загонин раздумал идти за вещами. Он пошел быстро, ни на что не глядя, ревущие автомобили проносились мимо и ему было безразлично, если он попадет под один из них... Однако, одна машина чуть не сшибла его с ног и он с испугом отскочил, быстрее направился куда-то вперед, пока не очутился на незнакомой ему улице, менее шумной, узкой. В окне одного небольшого ресторана он заметил русский самовар. Красовались также бутылки с напитками всех сортов, включая водку с иностранным ярлыком. Место было не русское, но притянуло Загонина, хотя войти он не решался. Просто остановился и замер в уединении и некоторой усталости. Вдруг около него раздался голос по-русски...

— Узнаю земляка... А? — не ошибся...

Загонин увидел перед собой высокого плотного мужчину в наглухо застегнутом пальто. Мягкая низко опущенная шляпа скрывала лицо, оставляя заметной небольшую опрятную бороду. От всей фигуры незнакомца веяло какой-то таинственностью и теплотой. Его густой бас прозвучал мягко и дружелюбно. Но Загонин насторожился, ответил сдержанно:

— Да, я русский. — Он хотел сейчас же отойти. Мужчина коснулся его локтя, опять послышался его приятный густой голос:

— Никак из недавно прибывших? И еще не освоились в американском городе? —

Незнакомец поднял голову, из под его очков, на Загонина взглянули мягкие, как весь его облик, но внимательные и испытующие глаза.

„Не сыщик ли?" мелькнула мысль у Загонина. Незнакомец точно угадал его испуг и сказал:

— Подошел к тебе по доброй воле. Хочешь поговорим, как земляки, а если нет, прости, разойдемся... —

Загонин поразился этим неожиданным обращением на „ты", но его тронуло нечто приятное в голосе незнакомца. Он ответил:

— Почему же, поговорим. Я из Германии недавно, Ди-пи...

— Знаю, — почему то вздохнул мужчина, — зайдем сюда, — показал он на дверь. — Будь моим гостем. Меня здесь знают. —

Загонин повиновался, он будто уже сам потянулся за странным человеком. Но как только он очутился с ним за столиком, никакой загадочности он не видел на типично русском красивом лице. Загонин решил, что перед ним, вероятно, один из старых эмигрантов, доктор или ученый; по мудрости лет с умиротворившимися политическими страстями. Как бы в подтверждение он узнал, что его знакомый приехал в Америку до революции, со специальной миссией, не военной.

За легким вином, он рассказывал Загонину о родном доме в Курской губернии, где так чудесно пели соловьи...

— Я сам у них учился петь... Только я пел басом... — Он рассмеялся, оборвал себя, произнес с грустью:

— Никогда ничего не забыть. Хорошо еще, что довелось жить в Америке...

— В погоне за наживой? — вырвалось у Загонина.

— Почему же „за наживой?" — улыбнулся его собеседник. И будто чем то задетый, добавил:

— В этой стране, что то значит и труд... Все, что ты видишь здесь — это дело рук, ума и таланта, таких же бездомных эмигрантов, как мы с тобой. Кто приехал моложе, тому дано больше. Вот я смотрю на твою молодость и думаю: „Далеко пойдешь в Америке"...

— Я? — изумился Загонин.

— Да, ты. Образование имеешь? Специальность?

Московский университет. Экономист, — сухо ответил Загонин и снова бросил едко:

— Не одним хлебом сыт человек! А здесь самый дух и зажат. Хорошо сказал когда-то Маяковский об Америке: „Место людей смятых и задавленных капиталистическим строем"...

— А зачем тебе вспоминать слова того, кто руки на себя наложил... — немного насупившись произнес незнакомец и продолжал живее: — Посмотри на все иначе. В Бога веришь?

Загонин не ожидал такого вопроса от умного человека, ответил с запинкой, но веско:

— Конечно нет.

Высокая фигура, все еще в застегнутом пальто поднялась. Загонин услышал:

— Ты прав... трудно верить в то, чего не знаешь...

Загонин тоже встал со странной неловкостью, был рад, когда его новый знакомый обернулся к нему, с улыбкой спросил:

— А борьбу любишь? — И не дожидаясь ответа, сказал:

— Я люблю, грешным делом...

Он предложил Загонину пойти в лучшее место поужинать. Загонин согласился.

За ужином, с водкой, Загонин горячился, доказывал, что весь мир сейчас залит зловещим желтым светом... обреченных... незачем искать спасение. А его собеседник старался внести в разговор больше света и радужных надежд, указывал на вечный разум человека. Советовал молодому человеку почаще смотреть на голубые небеса... Говорил о важности любви в жизни каждого. И что он сам, будучи одиноким, разделяет это чувство со всеми. Имеет бесчисленное количество друзей, всяких вер и национальностей; любит всех горячо, со всеми их человеческими слабостями и грешками. Сам себя считает грешным перед Богом. Его мысли о рели-

гии были особенные, восторженные: „Только раз нужно почувствовать над собой Божью руку, и ты уже не оставлен в одиночестве и тьме ”...

При прощании, Загонин, как бы опомнился, впервые назвал свое имя и фамилию, на что его новый знакомый ответил:

— Имя хорошее — Андрей, а фамилия — символическая... „Загонин”... Он шутливо прищурил глаз и добавил:

— Другие выбрали похуже...

Свое имя он не назвал и оно осталось в непонятной тайне. Он только дал Загонину свой адрес, объяснив, что его дом легко заметить, он угловой, красный каменный с большим входом. Так же пояснил, что его легче всего застать по Воскресеньям, до полудня.

Он не дал Загонину расплатиться за ужин, ушел со словами:

— Ты мой гость...

Загонин долго бродил по улицам, находясь под впечатлением встречи с интересным человеком, показавшимся ему и во многом непонятным, отсталым, ему хотелось встретиться с ним еще раз, поговорить, поспорить. Особенно о религии, как „о системе заблуждения и иллюзий ”.

С более легким сердцем он пришел к знакомому за своим чемоданом, тот напомнил ему о свободной комнате в его квартире, от которой Загонин почему то раньше отказался, а теперь с благодарностью принял предложение и остался.

В ближайшее воскресенье он стоял на указанной улице, растерянно оглядывался: на углу был только один красный каменный дом, это была церковь, показал кому то адрес и узнал, что это и есть номер церковного дома. Загонин вошел во внутрь, чтобы выяснить недоразумение.

В освещенном храме, в Царских вратах, в священ-

ническом облачении, сам весь сияющий, стоял тот, кого он искал. Знакомый голос доносился:

— Мир всем... —

Загонин до того был поражен, что окаменел на месте, в голове мелькнуло: „Уйти"...

Здесь кто то подтолкнул его вперед, или он сам машинально стал двигаться не сводя глаз со священника. Ему показалось, что тот улыбнулся, „неужели ему?"... Ноги Загонина словно приросли к полу. Торжественно запел хор. Загонин вздрогнул, священник приблизился к молящимся, с поднятой рукой сказал просто, мягко:

— Сегодня, в моей проповеди я хочу сказать слово приветствия тем, кто недавно прибыл к нам, в Америку, после долгих скитаний и страданий... Страх, беспомощность и горечь этих скитальцев — понятны. Они потеряли все, даже веру. И вот, случайно, такой человек входит в свою церковь. Всегда, всем связанной с его землей, народом, с его родным домом, в котором была его мать и слово „Бог"... Не сразу этот странник и сирота испытывает тепло и радость от своей церкви. Он ее забыл... но он вошел в нее и она осенила его своим светом и благословила, как любимого сына...

Священник помолчал и вдруг, словно уже определенно, обратился к кому то в толпе: — Стой... стой... в своем храме, который отныне будет твоим утешением и опорой...

Загонин в ужасе чувствовал, что эти слова относятся к нему. С трудом нашел в себе силы и вышел из церкви, чтобы больше не возвращаться. Но на следующее воскресенье он опять находился среди молящихся.

И произошло нечто неожиданное: священник подошел к нему со словами — „рад тебя видеть Андрюша".

Загонин покраснел. На них смотрели, кто то перешептывался. Священник проронил тихо:

— Не смущайся, за это попадет мне...

Позднее он говорил Загонину по поводу того, что подошел к нему во время службы.

— Мне может быть не следовало быть священником. Я недостаточно церковен... Вот так, подойду к кому нибудь, спрошу о здоровьи, старушенку — про внученьку... А то пожалею старого офицера, проигравшегося в карты... Сам, грешным делом, непрочь поиграть. И сколько я уговорил иноверцев, за этой игрой, перейти в православие... А ведь это, не хорошо... ставят мне в упрек, не поверишь... Многие меня не любят за эти вольности...

Загонин хотел сказать в ответ, что именно эта непосредственность и простота, чисто человеческого подхода ко всем и есть сила влекущая к нему. Но он еще сам не мог разобраться в своих новых переживаниях, в тайне, которая влекла его теперь в храм. Каждый раз, после службы, он чувствовал себя иначе, легче и увереннее, как будто поднимался на какую то голубую ступень... Видел светлые небеса, в которые упирались сильные дома — великаны...

Он стремился теперь на свидания со священником, на беседы с ним. Тот немного жаловался на свое здоровье, слабость, а обязанности были большие; все из за новых эмигрантов, кого хоронить, кого крестить.

— Я ведь тоже не крещенный... вырвалось у Загонина. Священник не удивился.

Крестим и тебя. Будешь Андрей, во имя апостола Андрея Первозванного. А меня хочешь крестным?

Крещение состоялось вскоре до Рождества. Праздники Загонин встретил в незабываемом подъеме, со своим крестным отцом и Светланой.

В начале января, священника — друга не стало...

В переполненном храме, перед усопшим, Загонин не понимал, что происходит. Он видел, чувствовал живое, вдохновляющее присутствие своего чудесного пастыря.

Вышел на улицу шатаясь. С трудом пробирался че-

рез собравшуюся толпу прихожан. Многие плакали. Вдруг кто то сказал:

— Я, конечно, его любил, уважал, но в священники он не годился.

Загонин прошел мимо. В его мозгу горела мысль: „А кто меня приблизил к Христу, как не он?” ...

ПРОЗАИК И ПОЭТ

« О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь » ..
(Н. Гумилев)

До квартиры Никулина не легко было добраться. Он жил вдали от центра города, в старом пятиэтажном доме, без лифта. И жил под самой крышей. Вначале пришлось долго и терпеливо бродить по этажам, темным коридорам, мимо дверей без номеров и имен. Но Алексей Алексеевич Черемов подготовился ко всяким трудностям, лишь бы найти Сергея Никулина. За последние двадцать лет, находясь в одном и том же городе, совершенно потеряв его из вида. А кто хочет исчезнуть в пучине Нью-Иорка, тот добивается этого...

Что заставило Никулина скрыться, оставалось загадкой для Черемова. И еще более загадочным казалось то, что он ничего не слышал о поэте — Сергее Никулине, нигде не читал и не слыхал его стихов, так чудесно звучавших еще в начале их скитаний и дружбы.

В Турции, без всяких планов и надежд, работая грузчиком в Константинопольском порту, Никулин создавал незабываемые строки, вдохновленные еще свежей памятью о доме. Он читал их Черемову по вечерам, сидя в кафэ на Пера или гуляя по широкой тихой дороге — Шишли.

В такие минуты, поэт не давал Черемову рта открыть, похвалиться, что и у него есть кое-что написанное под впечатлением „Стамбула" ... Никулин перебивал его со смехом: „Эх, вы писатели — прозаики!.. Пишите, что видите под носом, эко искусство"!.. И он

загорался своим творческим настроением, читал последние произведения или тут же слагал что нибудь новое.

Не покидала его муза и тогда, когда он с тоской оставлял берег Босфора, направляясь в далекую Америку. Тогда он начал писать свою крупную поэму „Последний взгляд к тебе — отчизна" ... И чем дальше несли его воды к Новому Свету, тем глубже охватывали чувства к родине. Разгоралась заложенная с детства вера, порой переходя в подлинный религиозный экстаз. Это зазвучало в его стихах: „Многострадальная Мария", „Ты успокой меня молитвой" ...

В Америке его талант стал расцветать. О нем заговорили. Слова Сергея Никулина волновали, в них послышалось нечто вещее:

„Я верю в чудо, в мой народ" ...

Черемов всячески ободрял друга, предсказывал ему первое место русского поэта в эмиграции. И вдруг его лира замолкла ... И он сам исчез из русской колонии, ее жизни.

Стали появляться новые русские таланты, имена. Вносили свои творческие краски, настроения, все ближе ко времени. Читались произведения советских поэтов, писателей, сменялись выступлениями лекторов-политиков.

Черемов бывал всюду. Слушал всех. Но его самого творческое вдохновение не захватывало: слишком быстро, круто все менялось, перестраивалось на иной лад. Казалось чуждым и неприемлемым. „А если писать, то нужно слиться со временем, с человечеством" ... думал он, но не ясно, даже с тревогой. И словно в ожидании чего-то более определенного, понятного, молчал и только многое заносил в записную книжку.

В стихийном беге годов и событий, Нью-Иорк стал заполняться новыми русскими эмигрантами. Послышались странные прозвища:

„Дипийцы" ... „Невозвращенцы" ... „Политзаключенные" ...

Но стали разноситься их голоса: ободряющие слова о неумирающей душе русского человека. Такие откровения задевали Черемова, как те же сладкие звуки для души, при чтении стихов Никулина. Он тяжело ощутил его отсутствие... Нехватало его голоса в этом общем вопле и гимне преданных сынов России...

Совершенно случайно Черемов наткнулся в американской газете на стихотворение, под названием: „Фабричный Дым". Имя поэта было — Сергей Никулин. Стих на английском языке, какой-то скучный, бесцветный, как само название, вызвал в Черемове странное чувство. Будто он наконец встретил друга, но не узнавал его... Он готов был забыть о нем совершенно.

Если-бы снова, не наплыв свежих встреч — появляющихся в Америке русских артистов, литераторов. Мысль о Сергее уже стала преследовать его и он бросился на поиски.

Он, под конец, нашел нужную ему дверь. Никулин встретил его на пороге. Черемов сиял, Никулин странно съежился, выжал из себя не сразу, холодно:

— Входите, Алексей Алексеевич.

Черемов охотно проглотил столь официальное приветствие и в свою очередь ответил сдержанно:

— Рад, что живы, здоровы, Сергей Валерьянович.

— А почему мне не быть живым и здоровым?.. почти резко ответил Никулин и добавил:

— Служу, зарабатываю, ем, сплю и пью!..

Он словно подчеркнул последнее слово, дал Черемову догадаться: „Пьет!"...

Тут же он заметил большое количество пустых бутылок. Они стояли на полу, на подоконниках, и на столе были бутылки с вином.

„Узнать человека, оглянись на его обитель"... промелькнула у Черемова, им же когда-то записанная мысль. А окружающая обстановка, говорила ему не так о нужде его друга, как об его одиночестве и упадке.

— Чувствую себя превосходно!.. между тем, слышал он тот-же резкий голос Никулина. — Главное, далек от всех русских. Знать их не хочу!.. Даже русских газет не брал в руки годы... И Россия мне осточертела!.. все!..

Он указал Черемову на стул. Тот сел, молчал и осторожно разглядывал своего бывшего товарища. Никулин сильно изменился, постарел, исхудал, одет был неряшливо. Только светлые глаза остались те же, в эти минуты смотревшие растерянно, угрюмо. Чувствовался его глубоко надтреснутый и болеющий дух, который он напрасно старался залечить вином. Он и сейчас потянулся за ним.

— Ну, так и быть, за встречу... — сказал он. Налил два стакана красного и протянул гостю. Черемов едва пригубил и произнес негромко:

— То, что вы ушли от нас, Сергей Валерьянович, это еще не беда. Но почему вы перестали писать?..
— Откуда вы взяли, что я перестал писать?.. — как ужаленный вскрикнул Никулин, — мои стихи печатаются на английском языке!.. Вы думаете это не достижение?..

— Не для вас, Сергей, вы русский поэт... вырвалось у Черемова и он добавил вспыльчиво:

— Вы только закоптили фабричным дымом свою русскую душу!..

По лицу Никулина прошла мимолетная гримаса, он воскликнул со смехом:

— Русский поэт?!.. да кому я такой нужен? Вы думаете я ушел по капризу? по глупости?.. нет, голубчик, много взяло, чтобы понять свою ненужность, нашу „эстетику старья", как выразился один из современных гениев. Очнитесь и вы, Черемов, в этот век — мракобессия, политических страстей, безбожия...

— Вы нужны теперь больше, чем когда либо!..

также повысил голос Черемов, встал и заходил по комнате, продолжая горячо:

— Вы хвалитесь тем, что ушли от русских, от всей их жизни ... а я не отступал ни на шаг. Не пропустил ни единого слова произнесенного открыто русским человеком, здешним или приезжим. Не прошли мимо моих ушей и сердца, ни творчество, ни заблуждения Сталинских лауреатов, некоторых окончивших плохо ... Услыхал я откровения и послевоенной русской эмиграции; тысячами бежали эти несчастные от С.С.С.Р., попадали в немецкий плен, в лагеря смерти ... Здесь, в благодарность за спасение склонившие свои головы перед образами.

Теперь, к нам прибывают новые гости! Прямым сообщением в небесах: „Москва — Нью-Иорк" ...

И вот, перед нами поэт оттуда, — многогранный талант! Его стихи проникнуты лирикой, драмой, юмором, философией ... Но в них прорывается другое — трагедия современной эпохи. В каждой стихийной строчке чувствуется, что это он сам, выросший там в муках зла, слез и притеснений. А какой глубокой любовью, гордостью прозвучало его: „Я русский".

И не в этом ли свет и залог счастья каждого из нас — „Я русский" ...

Черемов сделал паузу, сказал ласково:

— Очнись и ты, Сергей, вернись, как русский поэт. Вспомни — „Я верю в чудо, в мой народ" ...

— Слова ... слова ... — отозвался Никулин и добавил тихо: — Только на том свете я найду покой ...

Черемов отвернулся от него и не оглядываясь вышел из комнаты. На темной лестнице ему вспомнились только что сказанные слова Никулина и ему стало тревожно. Вспомнилось, что вот так, некоторые таланты, в отчаянии, потерявшие в себе веру, сломя голову бросаются в пропасть лестницы ... Он машинально поднял

глаза и вздрогнул, как раз наверху выступила фигура Никулина.

— Не надо ! .. не надо ! .. вне себя, в ужасе закричал Черемов. — Нет надо ! .. донеслись слова Никулина, — вернись назад ко мне, черт бы тебя побрал ! ..

Черемов бешенным темпом понесся обратно наверх. Никулин странно преобразившись протягивал ему руку, тянул в комнату. Голос его звучал с дрожью, радостно:

— Ты прав, Алешка... я тебе верю во всем. И я пойду с тобой к своим. Только подожди... прочти мои стихи. Я писал не один дым фабричный...

Он с быстротой доставал откуда-то исписанные бумаги, тетради. Давал их Черемову, приговаривая: — Читай ... читай ...

Писатель аккуратно складывал листки со стихами. Их было много ... Несколько строк остановили его взгляд:

Я от тебя ушел далеко,
Родная мать, Святая Русь,
Но о тебе всегда молюсь,
В моей пустыне, одиноко ...

* * *

ОГЛАВЛЕНИЕ